

A detailed illustration of a medieval fantasy scene. In the foreground, a character with short blonde hair, wearing a red cape and chainmail, stands with their back to the viewer, looking towards a large, dilapidated stone and timber building. The building has a steep, shingled roof and appears to be in ruins. In the background, there are rolling green hills, a valley, and distant mountains under a blue sky with many birds flying. The overall style is highly detailed and atmospheric.

Светлана Дроздова

**Легенда о
Зеркальном
Королевстве.
Книга 3**

Светлана Дроздова

**Легенда о Зеркальном
Королевстве. Книга 3**

«Автор»

2026

Дроздова С. В.

Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 3 / С. В. Дроздова — «Автор», 2026

Эйнар, «пустой», чьё отражение исчезло из мира, и Ирис, целительница из Ордена, проходят через Пустоту — мир, где память перемалывается в поющую пыль. Они стремятся к Мельнице и Наблюдателю, чтобы узнать, можно ли остановить Распад. В лагере Детей Бурь они переживают «звонящий час» — время, когда пыль поёт песню забытых душ, и атаку обсидиановых Стражей. Эйнар предсказывает сход смертельной лавины пепла и ценой невероятных усилий доказывает правду, завоевывая авторитет. Он и Ирис заключают хрупкий союз с вождём Гармом и отправляются к Дымящемуся Плато, где их ждёт слепой Патриарх Магнус. Там, на границе вечности, раскрываются тайны древнего прошлого, а политика принуждает к чудовищному браку между воином Руном и пленной Хранительницей Брин. Клятва на стали скрепляет союз врагов, оставляя в душах тяжёлый груз необходимости и тоски. Это история о пустоте, памяти, чудовищной цене выживания и пути, который нельзя остановить.

© Дроздова С. В., 2026

© Автор, 2026

Светлана Дроздова

Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 3

ГЛАВА 31. ПЕСНЬ ПЫЛИ

Часть первая: Звенящий час

I

Эйнар не услышал этот звук — он прочувствовал его нутром за несколько мгновений до того, как реальность начала трескаться по швам.

Это случилось в тот самый миг, когда тени от костяных рёбер стали длинными и неправильными — слишком короткими для такого низкого солнца, слишком размытыми, как будто кто-то нарисовал их мокрой кистью, а потом попытался стереть, но не до конца. Тишина, которая висела над лагерем всю ночь, вдруг стала вязкой, тяжёлой, как старая смола, которая застывает в трещинах дерева и не поддаётся даже самому острому ножу. Она давила на плечи, на затылок, на глаза, заставляла их слезиться, и Эйнару казалось, что он тонет в этой тишине — медленно, неотвратно, без надежды на спасение.

А потом где-то на границе слышимости, там, где кончается человеческое восприятие и начинается звериный страх, родилась вибрация.

Не звук — дрожь. Она прошла сквозь кости, сквозь утрамбованную землю, сквозь черепа, которыми был вымощен пол, и ударила прямо в позвоночник, заставив зубы заныть, а позвонки — заскрежетать друг о друга с сухим, тоскливым звуком. Эйнар открыл глаза, и первое, что он увидел, была Ирис. Она уже стояла, опираясь на посох, и её лицо было бледным, почти белым в тусклом свете тлеющих углей — не тем болезненно-серым, к которому он привык за дни пути, а прозрачным, как лёд на замёрзшем ручье, под которым видно тёмное, холодное течение.

Она не смотрела на него. Она смотрела на шкуру у входа, за которой разрасталась эта невидимая, но осязаемая пульсация. Её левая рука сжимала посох так, что костяшки побелели, а правая — безотчётно, по привычке, которую она сама, наверное, не осознавала, — держалась за маленькую крошку первозеркала, что дала ей Сайга. Крошка пульсировала в такт этой дрожи, отзываясь слабой, голубоватой вспышкой под тканью рубахи, и эти вспышки освещали её лицо изнутри, делая его похожим на лицо утопленницы, которую нашли в чёрной воде и не смогли откачать.

— Он начался, — прошептала Ирис. Голос её был тихим, но в этой тишине он прозвучал как выстрел, как треск ломающейся кости, как крик, который невозможно не услышать. — «Звенящий час». Гарм предупредил. Земля запела.

— Это не земля, — ответил Эйнар, поднимаясь.

Отцовы сапоги привычно обхватили голени — старая, потрескавшаяся кожа скрипнула, но не подвела. Лук был на плече. Стрелы — в колчане. Нож — на поясе, в ножнах из берёсты. Всё было на месте, но сейчас его оружие казалось ему бесполезным. От вибрации, от этого глубокого, пульсирующего гула нельзя было защититься ни стрелой, ни лезвием, ни даже обсидиановым ножом, который резал камень как масло. Она проходила сквозь любую броню, сквозь любую шкуру, сквозь самую плотную кость, потому что исходила не снаружи — изнутри. Из земли. Из памяти. Из пустоты, которая ждала под лагерем, под костями, под черепами, под всем, что Дети Бурь считали своим домом.

Шкура у входа откинулась неожиданно — её словно сорвало невидимой рукой. На пороге стоял мальчик с угольными глазами, но сейчас даже его непроницаемые, древние глаза, которые видели то, чего не должны видеть дети, выражали то, что Эйнар никогда не видел на лице этого странного, не по годам взрослого ребёнка: страх. Не тот страх, который заставляет кричать или бежать, — другой, глухой, тянущий, который сковывает язык и заставляет тело дрожать мелкой, противной дрожью, от которой не спасает ни тёплая одежда, ни близость костра, ни даже присутствие вождя.

— Гарм зовёт, — сказал мальчик, и голос его, обычно низкий, хриплый, с той особенной, надтреснутой интонацией, которая бывает у людей, проживших в Пустоте не один десяток лет, сейчас звучал неестественно высоко, срываясь на тонкий, почти женский фальцет. — «Звонящий час» начался. Он хочет, чтобы вы видели. Чтобы вы слышали. Чтобы вы поняли, что такое Пустота на самом деле. Не по рассказам — по себе. По коже. По крови. По самой глубине, где прячется то, чего вы боитесь больше всего.

Он не стал дожидаться ответа — развернулся и пошёл, но не своей обычной, бесшумной походкой, которой мог позавидовать любой охотник, а нервной, сбивчивой, то и дело оборачиваясь, словно ожидал, что кто-то кинется на него из темноты. Или что темнота сама кинется. Эйнар и Ирис переглянулись. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках, которые стали ещё заметнее после бессонной ночи, — он увидел отражение того же, что чувствовал сам: ледяное спокойствие перед неизбежным. Ни паники, ни попытки бежать, ни даже тени сомнения. Только понимание того, что час настал. Тот самый час, которого они ждали с того момента, как переступили границу Пустоты. Тот, которого боялись. Тот, без которого нельзя было идти дальше.

— Идём, — сказала она.

— Идём, — ответил он.

И они шагнули в темноту.

П

Они вышли из своей кости, и лагерь встретил их тишиной.

Но это была не та тишина, которая бывает перед рассветом, когда даже ветер спит, а звери затаились в норах, пережидая темноту, и только редкие, далёкие звуки напоминают о том, что мир ещё жив. Другая. Тишина, в которой не было ни звука, но был гул. Низкий, тягучий, похожий на стон, который издаёт раненый зверь, когда не может идти дальше, но не хочет сдаваться. Он шёл отовсюду — из-под земли, из костей, из черепов, которыми были выложены

тропы, из шкур, висящих на верёвках из жил, из самого воздуха, который стал плотным, как вода, и тяжёлым, как свинец.

Даже шкуры вибрировали, и в этом дрожании, в этом мелком, назойливом трепетании, слышалось что-то, похожее на шёпот. Неразборчивый, далёкий, но живой. Шёпот, который не улавливали уши, но чувствовала кожа — мурашками, холодом, желанием забиться в угол и закрыть голову руками.

Люди, которые попадались им навстречу, не смотрели на них. Они вообще ни на кого не смотрели. Они стояли группами у погасших костров, прижимая руки к ушам, к вискам, к груди, словно пытались защитить самые уязвимые места от этого проникающего, всепроникающего звука. Некоторые сидели на корточках, раскачиваясь вперёд-назад, как маятники, как безумцы, как одержимые, и их губы шевелились, выплёвывая обрывки молитв или проклятий — Эйнар не разбирал слов, да и не хотел разбирать. Женщины держали детей, прижимали их к себе так сильно, что те начинали задыхаться, но не отпускали. И дети не плакали. Они смотрели в небо широко открытыми, сухими глазами, и в этих глазах не было ничего — ни страха, ни надежды, ни узнавания. Только пустота. Та самая, которая жила внутри Эйнара теперь, когда его отражение исчезло из мира зеркал, из мира воды, из мира полированного металла.

У южного частокола, там, где земля трескалась глубокими, чёрными провалами, из которых сочился не свет — отсутствие света, собралась почти половина лагеря. Гарм стоял в центре этого сборища, опираясь на костяную пясть, и его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком, который казался чёрной дырой в бледной радужке, — был устремлён на восток, туда, где небо только начинало светлеть бледной, болезненной желтизной. Рядом с ним, положив морды на лапы, лежали волкодавы, но сейчас даже они, эти огромные, чёрные звери с жёлтыми глазами, которые не боялись ни медведя, ни человека, ни даже пустоты, не рычали и не скалились. Они прижали уши, вжались в землю, и их жёлтые глаза слезились от напряжения, а из пастей капала слюна, смешанная с кровью — они прикусили языки, чтобы не завывать.

Когда Эйнар и Ирис подошли, толпа расступилась — неохотно, с ропотом, с недовольным бормотанием, похожим на рычание, но расступилась. Кто-то отводил взгляд, кто-то, наоборот, смотрел с вызовом, словно обвиняя их в том, что происходит. Словно это они, чужаки с запада, принесли с собой «звнящий час». Эйнар не обращал внимания. Он смотрел на частокол — грубые колья из костей и брёвен, которые Дети Бурь вбивали последние три дня по его совету, слушаясь приказа Гарма, который поверил пророчеству или просто испугался, — и за частоколом он видел не равнину. Он видел движение.

Пыль танцевала.

Не ветер гнал её — ветра почти не было, только редкие, слабые порывы, которые приносили запах металла и пустоты, — она двигалась сама по себе, повинаясь какому-то невидимому, древнему ритму, который чувствовался костями. Она собиралась в столбы, воронки, водовороты, которые возникали ниоткуда и исчезали в никуда, оставляя после себя только звук. Тот самый, который он слышал. Высокий, тонкий, назойливый, как комариный писк в летнюю ночь, но в тысячу раз громче, в тысячу раз навязчивее, в тысячу раз страшнее, потому что в этом писке, в этом звоне, в этой песне, не было ничего живого — только память о жизни. Только то, что от неё осталось.

— Смотрите, — сказал Гарм, и голос его, обычно спокойный, как у человека, который привык, что его боятся, сейчас был напряжён, как тетива перед выстрелом, готовая лопнуть от малейшего прикосновения. — Смотрите и слушайте. Это — «звнящий час». Это — голос Пустоты. Это — то, что вы ищете. Или то, что ищет вас. Не отводите глаз. Не затыкайте уши. Только так можно выжить. Только так можно понять. Только так можно стать частью этого места — или умереть, пытаясь.

Эйнар не ответил. Он стоял на краю лагеря, сжимая в руке лук, и смотрел, как пыль поёт.

III

Сначала он не понимал, что видит.

Песок — серый, мелкий, маслянистый, тот самый, который скрипел под сапогами, набивался в щели между подошвой и голенищем, оседал на одежде, на лице, на губах, придавая всему вкус горечи и железа, — поднимался в воздух тонкими струями, но не рассыпался, как положено песку, а складывался в фигуры. Сначала — простые: круги, спирали, зигзаги, треугольники, которые вращались, пульсировали, меняли форму. Потом — сложнее: лица. Человеческие лица, которые появлялись на секунду, на две, на три, а потом распались, рассыпались обратно в прах, и на их месте возникали новые, и так — бесконечно, без остановки, без передышки.

Эйнар смотрел на эти лица, и внутри, под рёбрами, дар пульсировал — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга у ворот Терновой Гривы. Он узнавал эти лица. Не все — но многие. Тех, кого он видел в отражениях за свою жизнь. Тех, кто умирал в его видениях — на охоте, в деревне, в лесу, в снегу, в крови. Тех, чья смерть уже случилась или должна была случиться, но время в Пустоте текло иначе, и он не мог отличить прошлое от будущего.

Торкель, сын кузнеца, утонувший в проруби, когда они были детьми, смотрел на него из пыльного водоворота, и его рот был открыт в беззвучном крике. Его лицо было синим, как в тот день, когда его вытащили из воды и положили на лёд, и мать Торкеля плакала, и отец молчал, и никто не знал, что сказать. Отец Эйнара стоял рядом, положив руку на плечо сына, и его лицо было спокойным, почти счастливым — таким, каким он не был при жизни. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками, как у самого Эйнара сейчас, — было что-то, чего он не видел раньше. Не боль, не сожаление, не любовь. Облегчение.

Мужчина с ножом, которого Эйнар убил на поляне в первый день их пути с Ирис, тоже появился. Его лицо было искажено ужасом, и в этом ужасе, в этой застывшей гримасе, было что-то, от чего Эйнару захотелось отступить на шаг, поднять лук, натянуть тетиву. Но он не отступил. Стоял, сжимая в руке посох Ирис (она отдала ему свой, когда устала), и смотрел. Мужчина смотрел на него в ответ, и в его глазах — пустых, чёрных, без зрачков — не было ни злобы, ни ненависти, ни даже памяти о том ударе, который оборвал его жизнь. Было только смирение. Смирение того, кто стал частью пыли и теперь поёт, потому что не может молчать.

— Ты видишь? — спросила Ирис, стоящая рядом. Её голос дрожал — не от страха, от того, что она тоже видела. Она тоже узнавала. Её прошлое, её ошибки, её смерть, которая не случилась, но могла бы. — Это не просто пыль. Это память. Те, кто рассыпался в прах, не

исчезли до конца. Они остались здесь. В песке. В воздухе. В звуке. Пыль помнит. Пыль поёт. Пыль ждёт.

— Что она поёт? — спросил Эйнар, не отрывая взгляда от танцующих лиц, которые появлялись и исчезали, появлялись и исчезали, как моргающие огни, как умирающие звёзды, как надежды, которые никогда не сбудутся.

— Свою смерть, — ответила Ирис. — Каждый — свою. Или общую. Или ту, которая никогда не случилась, но могла бы, если бы они сделали другой выбор, пошли другой дорогой, сказали другие слова. Я не разбираю. Слишком много голосов. Слишком много боли. Слишком много всего, что не должно было случиться, но случилось.

Она замолчала. Эйнар молчал. Только пыль пела.

Часть вторая: Пыль — это память

IV

Гарм подал знак своей костяной пястью — позвонки скрежетнули, издав тот самый сухой, тоскливый звук, который Эйнар уже научился узнавать, — и воины поднесли к частоколу факелы. Не для света — для защиты. Дети Бурь верили, что огонь приглушает голоса пыли, делает их тише, дальше, сноснее. Они верили, что пламя — это единственное, чего боится пустота. Или единственное, что пустота уважает. Или единственное, что пустота не может перемолоть.

Эйнар не знал, правда это или ложь. Дар не показывал ему таких вещей. Но когда факелы взметнулись вверх, когда десятки языков пламени разорвали серую, предрассветную тьму, тональность звука изменилась. Он стал ниже, глуше, словно кто-то накрыл поющую струну ладонью, приглушил её, заставил замолчать. Лица в пыльных водоворотах стали расплывчатými, нечёткими, как старая, выцветшая картина, которую много раз стирали и перерисовывали, пока краски не потеряли свою яркость.

Но они не исчезли. И с каждым новым лицом, с каждым новым водоворотом, с каждым новым звуком, который проходил сквозь тело, заставляя кости ныть, а зубы — сводить, Эйнар понимал всё больше.

Он понял это не умом — даром. Дар знал. Дар видел. Дар помнил то, что люди давно забыли, потому что забывать было легче, чем помнить. Пыль, которая кружилась за частоколом, которая пела, которая звала, — это были не просто частицы камня, не просто песок, не просто прах. Это были измельчённые души. Не в переносном смысле — в прямом. Распад не убивал — он перемалывал. Каждое отражение, каждая тень, каждая память, которая теряла своего носителя, попадала в эту невидимую, неосязаемую мельницу и превращалась в пыль. В ту самую, которую они топтали каждый день. В ту самую, которая набивалась в лёгкие, когда они дышали. В ту самую, которая пела.

— Измельчённые в пыль души, — прошептал он, и слова эти пришли не из головы — из дара, из той глубины, где не было ни слов, ни образов, только чистое, холодное знание. — Они не умерли. Они стали пылью. И теперь они поют. Не потому, что хотят. Потому, что не могут

молчать. Потому, что молчание для них — это вторая смерть. А второй смерти они боятся больше, чем первой.

Ирис повернулась к нему. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — он увидел не удивление. Понимание. Она знала это. Давно знала. Может быть, с того самого дня, когда впервые услышала голос земли в Ордене, когда Агата сказала ей: «Ты — инструмент. А инструмент должен знать, из чего сделаны струны». Но она никогда не слышала, чтобы кто-то произнёс это вслух. Даже Агата молчала. Даже Учитель, который видел центр Распада и вернулся седым в тридцать лет, обходил эту правду стороной. Потому что правда была слишком страшной. Потому что если сказать её вслух — пыль услышит. И придёт.

— Ты прав, — сказала она. — Это не магия. Это природа. Распад не убивает — он перерабатывает. Всё, что теряет отражение, всё, чья тень становится слишком короткой, всё, что забывает себя, превращается в пыль. Но память остаётся. Она никуда не уходит. Она просто ждёт. Ждёт, когда кто-нибудь придёт и услышит. Ждёт, когда кто-нибудь вспомнит. Ждёт, когда кто-нибудь назовёт её по имени.

— Зачем им, чтобы их слышали? — спросил Эйнар, хотя уже знал ответ. Дар пульсировал — не видение, уверенность. Уверенность в том, что он идёт по правильному пути. Или по единственному. Или по тому, который не выбирал, но не мог не выбрать.

— Чтобы не быть забытыми, — ответила Ирис, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине, в этом гуле, в этой песне, он прозвучал отчётливо, как удар колокола. — Забвение — это вторая смерть. Хуже первой. Первая — это боль. Вторая — это пустота. Они боятся пустоты. Поэтому они поют. Поэтому они зовут. Поэтому они пытаются зацепиться за живых, за их память, за их отражения. И если ты позволишь — они утянут тебя с собой. Навсегда. Не в смерть — в песню. В бесконечную, беззвёздную, беспамятную песню, которая не кончится никогда.

Она замолчала. Эйнар смотрел на пыль, на лица, на водовороты, и чувствовал, как дар внутри пульсирует в такт этой песне — не сливаясь с ней, не подчиняясь, но резонируя. Как две струны, настроенные на одну ноту. Пыль звала его. Не как врага — как равного. Как того, кто тоже почти исчез. Как того, чья тень стала короткой, чьё отражение исчезло, кто сам был пустотой.

V

В лагере началась паника.

Это случилось не сразу — сначала робко, с краёв, где стояли самые молодые и самые старые, те, чья воля ещё не закалилась в боях с пустотой или уже истлела от времени. Кто-то закричал — негромко, сдавленно, как кричат во сне, когда не могут проснуться, когда кошмар сжимает горло ледяными пальцами и не отпускает. Кто-то упал на колени, зажимая уши ладонями, и забился в конвульсиях, и пена выступила на губах, смешиваясь с пылью, которая оседала на лице, делая его похожим на маску — серую, безжизненную, чужую.

Кто-то побежал. Не к частоколу, не к выходу из лагеря — в глубину, к костям, к черепам, к темноте, надеясь спрятаться от звука, который нельзя было спрятать, потому что он был

езде. В воздухе. В земле. В костях. В крови. Он был внутри, и от него нельзя было убежать, потому что бежать было некуда.

Гарм что-то кричал, размахивая костяной пястью, но его голос тонул в общем гуле, в песне пыли, в криках обезумевших людей. Воины пытались удерживать бегущих, хватали за руки, за плечи, за волосы, но те вырывались, слепые, глухие, обезумевшие, не узнавая своих, не слыша приказов, не чувствуя боли. Некоторые падали сами, и их тела начинали рассыпаться — не умирать, а именно рассыпаться, как рассыпается старая, высохшая кость, которую сдавили слишком сильно.

Волкодавы завывали. Тоскливо, протяжно, как воют в ночи перед смертью хозяина, когда чуют запах крови, но не знают, откуда он идёт. Их вой сливался с пением пыли, и этот дуэт — звериный и нечеловеческий — был страшнее любого крика, потому что в нём не было ничего живого. Только животный ужас перед тем, что нельзя понять. Только древний, первобытный страх перед пустотой, которая не убивает — она перемалывает.

Эйнар стоял, сжимая лук, и не знал, что делать. Его дар показывал ему лица — тысячи, десятки тысяч лиц, которые появлялись и исчезали в пыльных водоворотах. Он видел среди них и тех, кто жил в этом лагере. Тех, кого он встретил за последние дни. Хьялмара, с которым дрался на Совете, — его лицо было спокойным, почти счастливым, и в этом спокойствии было что-то, от чего Эйнару стало холодно. Руна, который вёл их через туман к Стене Бурь, — его лицо было искажено гримасой боли, и из раны на шее текла чёрная, маслянистая кровь, которая не сворачивалась. Мальчика с угольными глазами — его лицо было детским, беззащитным, каким оно, наверное, было до того, как пустота забрала его детство. Сайгу, шаманку, которая дала Ирис крошку первозеркала, — её лицо было спокойным, мудрым, и она смотрела на него из пыли, и в её мутных, почти белых глазах было что-то, похожее на благословение. И самого Гарма — его лицо было властным, жестоким, но в глубине его единственного глаза — светлого, почти бесцветного, с точечным зрачком — Эйнар увидел то, чего не видел раньше. Страх. Настоящий, животный, первобытный страх перед тем, что он не может контролировать. Перед тем, что сильнее его.

— Они поют не только мёртвых, — сказал Эйнар, и голос его сорвался на хрип, потому что горло сжалось от напряжения, от ужаса, от понимания. — Они поют живых. Тех, кто ещё не рассыпался в прах, но уже готов. Тех, чья тень стала слишком короткой. Тех, чьё отражение почти исчезло. Тех, кто стоит на грани и не знает, шагнуть вперёд или назад. Они поют их, потому что хотят забрать их с собой. Хотят, чтобы те стали частью песни. Хотят, чтобы их память стала общей.

Ирис схватила его за руку. Её пальцы — холодные, тонкие, с обломанными ногтями — впились в его запястье, оставляя красные полосы.

— Замолчи! — крикнула она, и в её голосе впервые за всё время он услышал не просто страх — отчаяние. — Не говори это вслух! Пыль слышит! Пыль понимает! Если она узнает, что ты видишь её — она начнёт петь для тебя. Не общую песню — личную. Ту, которая убьёт тебя быстрее любой стрелы. Ту, от которой нет спасения. Ту, которую невозможно забыть.

Но было поздно.

Пыль услышала.

Часть третья: Лица в вихре

VI

Это произошло не сразу — сначала только лёгкое изменение в ритме, едва заметное смещение тональности, которое мог уловить только тот, кто слушал не ушами, а даром. Эйнар почувствовал это кожей, затылком, самой глубиной, где жила пустота. Пульсация стала чаще, быстрее, отрывистее. Песня, которая до этого была похожа на похоронный плач, превратилась во что-то другое. В зов. В призыв. В мольбу.

Водовороты, до этого кружившие хаотично, без видимого порядка, вдруг замерли на секунду — одну, две, три, — а потом плавно, неотвратно, как поворачиваются головы хищников, почувствовавших запах крови, повернулись к нему. Не все — десяток. Сотня. Тысяча маленьких, серых смерчей, которые смотрели на него пустыми глазницами лиц, появляющихся и исчезающих. Они смотрели, и в этих взглядах не было ни злобы, ни жестокости, ни любопытства. Было узнавание. Они узнали в нём пустоту. Ту самую, которая жила внутри него теперь, когда его отражение исчезло, когда тень стала короткой, как обрубок пальца, когда вода перестала его помнить. И они захотели заполнить эту пустоту собой.

Звук изменился.

Из высокого, тонкого, назойливого он превратился в низкий, тягучий, похожий на стон тысячи голосов, которые говорили одновременно. Не слова — образы. Эйнар не слышал их ушами — он видел их внутренним зрением, тем самым, которое открылось ему в зеркальной пещере, когда он сломал стену не силой — волей. Видел то, что они хотели ему показать. Свою смерть. Свою боль. Своё исчезновение. И в этом потоке образов, в этом водовороте чужой памяти, он начал терять себя.

Сначала он увидел женщину. Молодую, красивую, с длинными чёрными волосами, которые падали на плечи тяжёлыми, маслянистыми прядями, и глазами цвета янтаря — тёплыми, живыми, которые смотрели на него с нежностью и грустью. Она стояла на коленях перед чёрным, маслянистым озером, и в воде отражалось не её лицо — чужое. Чужое, но знакомое. Эйнар узнал это лицо. Это было лицо Наблюдателя. Гладкое, бледное, без черт, без выражения, без души. Женщина протягивала к нему руки, и её пальцы таяли в воздухе, рассыпались в пыль, поднимались вверх, смешивались с туманом, и она улыбалась, и в её улыбке было смирение.

Потом он увидел старика. Сгорбленного, с длинной седой бородой, которая касалась земли, и пустыми глазницами, в которых не было даже тьмы — только отсутствие. Он сидел на пороге каменного дома, сложенного из чёрных, грубо обтёсанных блоков, и смотрел на запад, туда, где садилось солнце. Солнце было красным, багровым, похожим на рану, которая не заживёт никогда. Оно не грело — оно светило. Холодным, мертвенным светом, который не разгонял тьму, а только подчёркивал её. Старик поднял руку, и его тень отделилась от тела, поползла по земле, как змея, встала за спиной, выросла, закрыла небо. И он улыбался. Как женщина. Как все они.

Потом он увидел ребёнка. Девочку лет пяти, с льняными волосами, заплетёнными в две тонкие косички, и испуганными глазами, в которых застыл вопрос, на который никто не ответил. Она стояла в поле, среди серой, жёсткой травы, которая шелестела на ветру, как старая,

высохшая бумага, и держала в руке осколок зеркала. Осколок был чёрным, маслянистым, с острыми краями, которые резали пальцы, и в нём, в глубине, в самой середине, что-то мерцало. Не свет — присутствие. Кто-то смотрел на неё из глубины этого осколка, и она смотрела на него, и боялась, и не могла отвести взгляд. Девочка смотрела в осколок, и её отражение улыбалось. Не она — отражение. Оно улыбалось, и в этой улыбке было что-то, от чего Эйнару захотелось закричать.

Потом он увидел себя.

Не таким, каким был сейчас — старым, сгорбленным, с лицом, изрезанным морщинами, и пустыми, белыми глазами. Он стоял на поляне, и вокруг него кружили вороны. Их было много — сотни, тысячи. Они сидели на ветках деревьев, на камнях, на земле, и смотрели на него жёлтыми, немигающими глазами. И он улыбался. Как женщина. Как старик. Как девочка. Как все они.

— Эйнар! — голос Ирис пробился сквозь гул, сквозь стоны, сквозь песню, сквозь видения. — Эйнар, вернись! Не смотри на них! Не слушай! Ты — пустота! А пустота не помнит! Пустота не боится! Пустота просто есть!

Она трясла его за плечи, и её пальцы — тонкие, холодные, дрожащие — впивались в кожу, оставляя следы, которые жгли, как огнём. Он чувствовал эту боль, и она помогала ему держаться, не проваливаться в воронку, не становиться частью этой пыльной, поющей памяти. Она была якорем. Единственным, что держало его в этом мире.

— Я здесь, — прошептал он, и голос его был чужим, надтреснутым, как у человека, который слишком долго смотрел на пустоту и сам стал пустотой. — Я не ушёл. Я не исчез. Я ещё здесь.

— Держись за меня, — сказала она, и в её голосе была мольба. Впервые за всё время — мольба. — Держись за мою руку. Держись за мою тень. Держись за мою память. Я — твоё отражение. Пока я рядом — ты есть. Пока я помню — ты не исчез. Пока я дышу — ты жив.

Он сжал её руку. Холодную. Живую. Настоящую.

VII

Гарм подошёл к ним, когда паника в лагере пошла на спад.

Воины наконец справились с обезумевшими — кто-то силой, кто-то уговорами, кто-то просто ударил по голове, чтобы обезумевший забыл свой страх и замолчал. Те сидели на земле, прижимаясь к костям, к черепам, друг к другу, и их дыхание было хриплым, частым, с при-свистом. Несколько тел лежали неподвижно — те, кто не выдержал песни, кто рассыпался в пыль прямо на глазах, оставив после себя только пустые одежды и горсть серого, маслянистого праха, который ветер уже начинал развеивать, унося в пустоту.

Гарм остановился в трёх шагах от Эйнара. Его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — смотрел прямо в душу, в самую глубину, где даже дар не мог найти отражения. В этом взгляде не было ни гнева, ни страха, ни удивления. Было что-то

другое. Уважение. То самое, которое Эйнар не искал, но получил. Потому что он выстоял там, где другие падали. Потому что он не убежал. Потому что он остался.

— Ты видел их, — сказал Гарм. Не вопрос — утверждение. — Ты видел тех, кто поёт. Тех, кто стал пылью. Тех, кто перемолот Распадом и теперь ждёт. Ты видел их лица. Может быть, даже узнал некоторые.

— Да, — ответил Эйнар. Голос его был хриплым, чужим, но он был. Он мог говорить. Это было главным. — Они показали мне свою смерть. Свою боль. Своё исчезновение. Они показали мне себя. Такими, какими были до того, как стали пылью.

— Зачем? — спросил Гарм. — Зачем они показали тебе это? Что им нужно от тебя? Что ты можешь дать им, чего они не могут взять сами?

— Чтобы я помнил, — ответил Эйнар, и слова эти пришли не из головы — из дара, из той глубины, где не было ни сомнений, ни страха, ни даже надежды. — Чтобы я не забыл, что когда-то они были живыми. Что они дышали, любили, боялись, надеялись, ошибались. Чтобы я стал их памятью. Их отражением. Тем, кто не даст им исчезнуть до конца. Тем, кто сохранит их имена, даже когда все остальные забудут.

Гарм молчал. Смотрел. Оценивал. Потом медленно кивнул — так кивают, когда принимают решение, которое не даётся легко, но которое нельзя не принять.

— Ты понял, — сказал он. — Ты понял то, что не понимают даже мои старейшины. То, что я сам понял только после десятка «звонящих часов». Пыль — это не враг. Пыль — это свидетели. Они поют не для того, чтобы убить — чтобы их услышали. Но если ты их услышишь слишком хорошо — ты станешь одним из них. Ты рассыпешься. Исчезнешь. Превратишься в песок. И будешь петь вечно. Как они. С ними. Вместе с ними. Без конца. Без надежды. Без памяти о том, кем ты был.

Он отвернулся и пошёл к трону, волоча костяную пясть, оставляя на земле глубокие, чёрные царапины. Волкодавы поднялись и побрели за ним — усталые, постаревшие на десяток лет за эту ночь, с глазами, которые видели слишком много, чтобы когда-нибудь закрыться в спокойном сне.

Часть четвёртая: Голос Сайги

VIII

Сайга появилась из темноты, когда «звонящий час» достиг середины.

Она шла медленно, опираясь на посох из чёрной, гладкой кости, с набалдашником из черепа — не человеческого, звериного, с длинными, острыми клыками, которые смотрели вверх, как копыя. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и в его глубине, под тонкой, морщинистой кожей, пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. На шее висел осколок первозеркала — тот самый, который она дала Ирис крошку, — и он пульсировал в такт песне пыли, отзываясь слабой, голубоватой вспышкой на каждое изменение тональности.

Она остановилась перед Эйнарсом и Ирис, посмотрела на них. В её мутных, почти белых глазах не было ни страха, ни надежды, ни усталости. Было что-то другое. Понимание. Она понимала, что они видят. Что они слышат. Что они чувствуют. Потому что она сама проходила через это много раз. Потому что она была медиумом. Как Ирис. Как те, кто слышит голос земли.

— Сестра, — сказала она, обращаясь к Ирис. Голос её был низким, скрипучим, как старая, проржавевшая дверь, но в нём слышалась нежность. Та самая, которую не ждёшь от шаманки Детей Бурь. — Ты слышишь их громче других. Не потому, что ты слабая. Потому, что ты открытая. Твоя память — как рана. Она не зажила до конца. И пыль проникает в неё, как яд. Как соль. Как память.

— Что мне делать? — спросила Ирис, и в её голосе впервые за всё время прозвучала не просьба — мольба. — Как защититься? Как не исчезнуть? Как остаться собой, когда всё вокруг кричит, что я уже не я?

Сайга протянула руку — тонкую, с узловатыми пальцами, с тёмными пятнами на коже, с длинными, жёлтыми ногтями, похожими на когти, — и коснулась лица Ирис. Пальцы её были холодными, но не обжигающими — просто холодными, как лёд, как вода, как пустота.

— Ты не должна защищаться, — сказала она. — Ты должна слушать. Не бояться. Не закрываться. Просто — слушать. Как слушают музыку, которая не нравится, но которую нужно понять. Как слушают больного, который не может сказать, что у него болит. Как слушают ребёнка, который не знает слов. Пыль не хочет тебе зла. Пыль хочет, чтобы её услышали. Услышь. И тогда она отпустит.

— А если не отпустит? — спросила Ирис.

— Тогда ты станешь частью её, — ответила Сайга. — И будешь петь вместе с ней. Вечно. Без надежды на возвращение. Без памяти о том, кем ты была. Без имени, которое можно было бы назвать.

Она убрала руку, повернулась к Эйнару. Посмотрела на него долго, изучающе, как смотрят на карту, на которой обозначено не только настоящее, но и будущее.

— А ты, пустой, — сказала она. — Ты видел Мельницу. Я знаю. Я чувствую. Твои глаза стали глубже за этот час. В них появилось то, чего не было раньше. Знание. Ты знаешь, что такое пыль. Ты знаешь, откуда она приходит. Ты знаешь, куда уходит.

— Да, — ответил Эйнар. — Я видел. Чёрную, огромную. Она перемальвает память в пыль. Жернова из чёрного камня, который не блестит, а гасит свет. И в центре — Наблюдатель. Лицо без лица. Он смотрит. Он всегда смотрит.

Сайга кивнула — медленно, тяжело, как кивают, когда слышат то, что знали, но надеялись не услышать.

— Он ждёт тебя, — сказала она. — Не нас — тебя. Потому что ты — пустота. А пустота — это единственное, что не боится Мельницы. Единственное, что она не может перемолоть.

Потому что её нечего перемалывать. Она уже перемолота. Или никогда не существовала. Или существовала, но забыла себя.

Она замолчала. Эйнар молчал. Ирис молчала. Только пыль пела.

Часть пятая: Остановка сердца

IX

«Звенящий час» достиг пика через час после рассвета. Или через вечность — Эйнар сбился со счёта. Время в Пустоте текло иначе, особенно когда пыль пела. Оно не растягивалось и не сжималось — оно замерзало, превращалось в лёд, прозрачный, холодный, неподвижный. И в этом льду, как в замёрзшей реке, можно было разглядеть обрывки прошлого и намёки на будущее, но нельзя было понять, где настоящее.

Небо на востоке светлело, но солнца не было — только бледная, болезненная желтизна, которая разливалась по горизонту, как чернила по мокрой бумаге, как масло по воде, как кровь по снегу. Пыль поднялась выше — теперь она кружила не только у земли, но и над головами, закрывая небо, превращая день в сумерки, а сумерки — в ночь. Звук стал таким низким, что его не слышали уши — его чувствовали кости. Эйнар чувствовал, как его позвонки вибрируют, как зубы ноют, как череп сжимается, готовый треснуть, как глаза давят изнутри, готовые выскочить из орбит.

Ирис стояла рядом, прижавшись к его плечу, и её рука — тонкая, холодная, дрожащая — сжимала его ладонь. Её лицо было бледным, почти прозрачным, под глазами залегли глубокие тени, и на левой щеке всё ещё виднелась тонкая, серебристая полоска — след от ножа, который почти затянулся, но оставил после себя странный, светящийся шрам. Она не говорила — у неё не было сил. Но она держала его за руку, и это было важнее любых слов.

В какой-то момент Эйнар понял, что не слышит своего сердца.

Не потому, что оно остановилось — потому, что звук пыли заглушил его. Стал громче, чем биение крови. Стал важнее, чем жизнь. Стал ближе, чем дыхание. И тогда, в этой абсолютной, всепоглощающей какофонии, он закрыл глаза и провалился внутрь себя.

Туда, где жил его дар.

X

Дар встретил его тишиной.

Не той, абсолютной, которую он видел в осколке первозеркала, — чёрной, бесконечной, пустой. Другой. Живой. Тишиной, которая ждала. Которая всегда была здесь, просто он не умел её слышать. Которая была громче любой песни, потому что в ней не было ничего, кроме него самого.

— Ты пришёл, — сказал дар. Не голосом — мыслью. Чистой, как лёд, как вода, как пустота. Мыслью, которая не нуждалась в словах, потому что слова — это отражения. А здесь не было отражений. — Ты пришёл, потому что не можешь иначе. Потому что пыль зовёт тебя.

Потому что ты — пустота. А пустота притягивает память. Как чёрная дыра притягивает свет. Как вода притягивает камень. Как смерть притягивает жизнь.

— Что мне делать? — спросил Эйнар. — Как остановить это? Как спасти их? Как спасти себя? Как не исчезнуть в этой песне, которая хочет сделать меня частью себя?

— Никак, — ответил дар. — Ты не можешь остановить песнь. Ты можешь только услышать её. Понять. Принять. Пыль поёт не для того, чтобы убить. Пыль поёт для того, чтобы её услышали. Услышь. Не бойся. И тогда она замолчит. Не навсегда — на время. На то время, которое тебе нужно, чтобы пройти дальше. Чтобы дойти до Мельницы. Чтобы встретиться с Наблюдателем. Чтобы задать вопрос, на который нет ответа.

— А если я не смогу? — спросил Эйнар. — Если я испугаюсь? Если я отступлю? Если я закрою уши и убегу?

— Тогда ты станешь пылью, — ответил дар. — Не сегодня — завтра. Или через год. Или через час. Но ты станешь. Потому что от пустоты нельзя убежать. Её можно только принять. Или исчезнуть.

Дар замолчал. Эйнар открыл глаза.

И увидел.

XI

Перед ним, в центре пыльного водоворота, который вырос до небес и касался облаков, висела Мельница.

Она была огромной — размером с тронный череп Гарма, с десять тронных черепов, с сотню. Она вращалась медленно, тяжело, неотвратимо, как вращается время, когда его никто не считает, как вращается земля, когда никто на ней не живёт, как вращается память, когда её некому помнить. Её жернова были сложены из чёрного, маслянистого камня, который не блестел, а гасил свет, поглощал его, как вода поглощает камень, как песок поглощает кровь, как время поглощает память. Между жерновами текла не вода — пыль. Серая, бесконечная, поющая. Она входила сверху светлой, почти белой, а выходила снизу чёрной, маслянистой, мёртвой.

Мельница перемалывала память в забвение. Перемалывала жизнь в смерть. Перемалывала отражения в пустоту. И это перемалывание не было жестоким — оно было необходимым. Как необходимо дыхание. Как необходима смерть. Как необходимо забвение.

И в центре Мельницы, в самом сердце, где жернова сходились в точку, стоял он.

Наблюдатель.

Лицо без лица. Гладкое, бледное, без черт, без выражения, без души. Оно висело в воздухе, не привязанное ни к чему — ни к телу, ни к стене, ни к небу. Просто висело и смотрело. И в этом взгляде — в этом пустом, бесконечном, всевидящем взгляде — не было ни злобы, ни жестокости, ни любопытства. Только ожидание. Бесконечное, глухое, беспросветное ожидание.

— Ты видишь, — сказал Наблюдатель. Не голосом — вибрацией. Такой же, как та, что шла от пыли, только чище, глубже, древнее. — Ты видишь то, что скрыто от других. Мельницу. Источник Распада. То, что превращает память в пыль. То, что перемалывает отражения в пустоту. То, что стоит между миром и забвением.

— Зачем? — спросил Эйнар. — Зачем ты это делаешь? Зачем перемалываешь память? Зачем превращаешь жизнь в пыль? Зачем забираешь отражения?

— Затем, что мир помнит слишком много, — ответил Наблюдатель. — Каждое лицо, каждую тень, каждую смерть. Каждый вздох, каждый шаг, каждое слово. Память копится, тяжелеет, давит. Если не перемалывать её — мир схлопнется в точку. В пустоту. В ничто. Я не убиваю — я перерабатываю. Я не враг — я необходимость. Я не бог — я механизм. И я работаю. Всегда. С самого начала. До самого конца.

— А я? — спросил Эйнар. — Я — тоже необходимость? Я — часть этого механизма? Или я — ошибка? Или я — то, что должно было случиться, но не должно было случиться?

— Ты — ключ, — ответил Наблюдатель. — Ты — пустота, которая не боится пустоты. Ты — тот, кто может войти в Мельницу и не рассыпаться. Ты — тот, кто может остановить её. Или запустить навсегда. Выбор за тобой. Выбора нет.

Видение исчезло так же внезапно, как пришло.

XII

Эйнар стоял на краю лагеря, сжимая в руке лук, и его трясло. Не от холода — от напряжения, которое наконец отпустило, оставляя после себя пустоту и слабость, такую, что подкашивались колени и темнело в глазах. Лицо его было мокрым от пота, несмотря на холод, и на лбу пульсировала жилка — тонкая, синяя, готовая лопнуть. Ирис держала его за руку, и её пальцы были холодными, но сильными, и это тепло — даже сквозь холод, даже сквозь усталость, даже сквозь страх — было единственным, что держало его в этом мире, не давало провалиться в пустоту.

— Что ты видел? — спросила она. Её голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине он прозвучал как удар.

— Мельницу, — ответил он. — Огромную, чёрную. Она перемалывает память в пыль. Жернова из чёрного камня, который не блестит. И в центре — Наблюдатель. Лицо без лица. Он сказал, что я — ключ. Что я могу войти и остановить её. Или запустить навсегда. Что выбор за мной. И что выбора нет.

— И что ты выберешь? — спросила она.

— Не знаю, — ответил он. — Но я должен дойти до неё. Увидеть своими глазами. Потрогать руками. Понять, зачем я здесь. Зачем мы оба здесь. Зачем нас бросили в эту пустоту, которая ждёт, когда мы придём. Или когда мы исчезнем.

Она посмотрела на него долго, изучающе. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — он увидел то, чего не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Согласие. Она была готова. Ко всему. К смерти, к исчезновению, к пустоте. Потому что она была медиумом. Потому что она слышала. Потому что она знала, что голоса земли — это не просто шум. Это — память. А память — это единственное, что остаётся, когда всё остальное исчезает.

— Тогда идём, — сказала она. — Как только этот час кончится.

Часть шестая: Новый статус

XIII

«Звонящий час» кончился так же внезапно, как начался.

Звук оборвался — не затих, не замер, не растаял, а именно оборвался, как обрывается струна на старых гуслях, когда пальцы музыканта застывают в последнем аккорде, и эхо ещё дрожит в воздухе, но уже неживое, не тёплое, не настоящее. Пыль осела на землю — медленно, тяжело, как снег после долгой метели, когда небо проясняется и становится видно, сколько горя принесла эта ночь. Небо прояснилось — насколько может проясниться небо в Пустоте, — и серый, тусклый свет снова залил лагерь, делая кости серыми, шкуры серыми, лица серыми.

В лагере наступила тишина. Настоящая. Не та, которая была до «звонящего часа», — пустая, насторожённая, полная ожидания, — а усталая, выдохшаяся, как после долгой битвы, когда не осталось сил ни на крик, ни на плач, ни даже на молитву. Люди сидели на земле, на костях, на черепахах, и не двигались. Некоторые плакали — тихо, беззвучно, без надежды на утешение. Некоторые молились — шёпотом, одними губами, забытым богам, которых никто уже не помнил. Некоторые просто смотрели в небо и не видели ничего.

Гарм обходил лагерь, считая потери. Эйнар не знал, сколько погибло — трое, пятеро, десяток. Он видел только пустые одежды, которые воины собирали в кучу, чтобы потом сжечь или закопать — он не знал их обычаев. Видел детей, которые держались за матерей, и в их глазах был тот же страх, что и у взрослых, только чище, острее, безыскуснее. Видел старейшин, которые сидели у потухших костров и молчали — их лица были спокойными, почти счастливыми, и в этом спокойствии, в этом счастье, было что-то, от чего Эйнару стало холодно.

К нему подошёл Хьялмар — тот, с кем он дрался на Совете. Его лицо было осунувшимся, бледным, с тёмными кругами под глазами, но в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было враждебности. Было что-то другое. Уважение. То самое, которое он не заслужил, но получил. Которое нельзя было купить, но можно было заработать кровью или словом.

— Ты спас их, — сказал Хьялмар. Голос его был хриплым, сорванным, как у человека, который кричал всю ночь и не мог остановиться, но спокойным. — Когда началась паника, ты мог уйти. Спрятаться. Забиться в свою кость и ждать, пока кончится. Но ты остался. Ты помогал удерживать людей. Ты кричал им, чтобы они закрыли глаза. И они слушали тебя. Не меня — тебя. Не Гарма — тебя. Не вождя — чужака. Это дорогого стоит.

— Я ничего не сделал, — ответил Эйнар. — Я просто стоял. Держал лук. Смотрел. Не убежал.

— Ты стоял там, где другие падали, — сказал Хьялмар. — Ты смотрел туда, где другие слепли. Ты слушал то, от чего другие глохли. Это и есть подвиг. Не драться — не упасть. Не бежать — выстоять. Не закрыть глаза — смотреть.

Он кивнул — коротко, резко, как отдают честь, как бросают вызов, как говорят «спасибо», когда сказать «спасибо» недостаточно, — и ушёл, не дожидаясь ответа. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на землю, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

XIV

К вечеру лагерь пришёл в себя.

Костры снова зажглись, мясо зашипело на вертелах, воины заговорили — тихо, осторожно, как после похорон, когда каждое слово может разбередить свежую рану, но молчать уже невозможно. Но в их голосах, в их взглядах, в их жестах было что-то новое. Не уважение — принятие. Они перестали смотреть на Эйнара как на чужого. Как на врага. Как на пустое место. Теперь они смотрели на него как на одного из них. Не Дитя Бурь — но того, кто выдержал то, что выдерживают не все. Того, кто не сломался. Того, кто не убежал.

Гарм позвал их к своему костру — не в тронный череп, а на открытое место, между двумя огромными рёбрами, которые сходились вверху, образуя естественную арку, похожую на свод древнего собора, о котором Эйнар слышал в рассказах купцов, но никогда не видел. Костёр был сложен из брёвен — не из позвонков, не из костей, а из настоящих, чёрных, обгоревших брёвен, которые когда-то были деревьями в том мире, по ту сторону Пустоты. Они трещали, искрились, пахли смолой и дымом, и этот запах напоминал Эйнару о лесе, о хижине, о жизни, которая была до.

Гарм сидел на черепе — огромном, с плоскими зубами-иглами, которые смотрели вверх, как копыта, — опираясь на костяную пясть, и его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — смотрел на огонь, но видел что-то другое. Что-то, чего не видели другие. Или видели, но боялись признаться.

— Садитесь, — сказал он, кивая на свободные места, выложенные шкурами. — Ешьте. Пейте. Сегодня никто не будет вас трогать. Сегодня вы — не чужаки. Сегодня вы — те, кто выжил. Как мы. Как мои воины. Как мои дети. Как моя стая.

Ирис села первой, опираясь на посох. Её левая нога болела — она поморщилась, но не застонала. Никогда не показывала слабости. Даже сейчас. Даже когда думала, что он не видит. Эйнар сел рядом, положил лук на колени. Ему протянули миску с кашей — тёмной, жидкой, пахнущей дымом и травами, с тёмными прожилками, которые могли быть мясом, а могли быть чем-то ещё, чему он не хотел давать названия. Он взял, не поблагодарил — здесь не благодарили. Просто начал есть. Каша была безвкусной, но тёплой. Она согревала изнутри, и это было главным.

— Ты увидел её, — сказал Гарм, не глядя на Эйнара. Голос его был спокойным, ровным, как у человека, который говорит о погоде, о дожде, о снеге — о том, что неизбежно. — Мельницу. Я знаю. Я видел твоё лицо, когда пыль запела громче всего. Ты смотрел туда, куда не могли смотреть другие. Ты видел то, что скрыто. То, что открывается только тем, кто готов исчезнуть. Или тем, кто уже исчез, но не понял этого.

— Да, — ответил Эйнар, отставляя пустую миску. — Я видел. Чёрную, огромную. Она перемалывает память в пыль. Жернова из чёрного камня. И в центре — Наблюдатель. Лицо без лица. Он смотрит. Он всегда смотрит.

— И что ты теперь думаешь? — спросил Гарм. — О нас? О Пустоте? О том, куда идёшь? О том, зачем тебе это? О том, что ты найдёшь там, за Стеной, за Бурей, за Дверью?

— Я думаю, что должен дойти до неё, — ответил Эйнар. — Увидеть своими глазами. Потрогать руками. Понять, можно ли её остановить. Или хотя бы замедлить. Или хотя бы понять, зачем она нужна. Зачем миру нужна мельница, которая перемалывает его память.

Гарм помолчал. Долго. Так долго, что Эйнар начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять. Потом Гарм медленно кивнул — так кивают, когда принимают решение, которое не даётся легко, но которое нельзя не принять.

— Ты иди, — сказал он. — Я не буду держать тебя. И не буду убивать. Ты доказал, что ты не враг. Ты выдержал «звонящий час». Ты видел Мельницу. Ты спас моих людей — не делом, словом. Этого достаточно. Идите завтра. На рассвете. К Стене. К Буре. К Двери. И не возвращайтесь. Или возвращайтесь, но уже не людьми. Я не знаю. Я не пророк. Я только воин, который слишком долго ждал и наконец дождался.

XV

Они вернулись в свою кость, когда небо на востоке начало темнеть — не чернеть, а сереть, становиться всё плотнее, всё ниже, всё тяжелее, как перед снегопадом, которого не будет. Ирис опустила на шкуру, вытянула левую ногу, закрыла глаза. Её дыхание было ровным, но неглубоким — она не расслаблялась, даже когда закрывала глаза. В Ордене, наверное, учили не расслабляться никогда. Даже во сне. Даже когда кажется, что опасность миновала. Эйнар сел рядом, положил лук на колени. Стрелы пересчитал на ощупь — четырнадцать. Нож на поясе. Всё на месте.

— Завтра мы уйдём, — сказал он.

— Завтра, — согласилась она, не открывая глаз.

— Ты боишься?

— Да, — ответила она. Голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине он прозвучал отчётливо, как удар колокола. — Но иду.

— Почему? — спросил он, хотя знал ответ. Знал, но хотел услышать. Хотел, чтобы она сказала это сама. Чтобы слова стали настоящими. Чтобы они повисли в воздухе и закрепили то, что уже было между ними.

— Потому что ты идёшь, — ответила она, открывая глаза. В её взгляде — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — он увидел то, чего не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Любовь. Ту самую, о которой не говорят вслух, потому что слова слишком слабы. Ту, которая не нуждается в отражениях. Ту, которая остаётся, даже когда всё остальное исчезает.

Она улыбнулась — на этот раз почти без горечи. В уголках её губ что-то дрогнуло. Не улыбка, но намёк на неё. Тень улыбки, которая, может быть, когда-нибудь станет настоящей.

Эйнар закрыл глаза и провалился в сон — глубокий, без видений, без отражений, без смерти. Только темнота, только покой, только надежда, что завтрашний день будет лучше, чем вчерашний.

А за частоколом, на южных склонах, пыль лежала тихо. Она ждала. Она всегда ждала. У неё было время. Вечность.

Но она знала: они вернуться. Не завтра — послезавтра. Или через неделю. Или через год. Но вернуться. Потому что Мельница звала. Потому что Наблюдатель смотрел. Потому что пустота не терпит пустоты.

И потому что песнь пыли ещё не кончилась.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 31

ГЛАВА 32. АТАКА СТРАЖЕЙ

Часть первая: Тень на частоколе

I

Эйнар проснулся от того, что тишина стала слишком правильной.

Не глубокой, не плотной, не давящей — правильной. Такой, какая бывает в лесу после снегопада, когда даже ветер затихает, боясь нарушить хрупкое, первозданное спокойствие, и только редкие, тяжёлые хлопья срываются с веток и падают в сугробы с едва слышным, почти невесомым шорохом. Но здесь, в лагере Детей Бурь, после вчерашнего «звнящего часа», после пыли, которая пела, после Мельницы, которая перемалывала память в забвение, правильная тишина была страшнее любого крика. Потому что правильная тишина означала, что пустота затаилась. Она ждала. Она всегда ждала.

Он лежал на спине, глядя в чёрный, костяной потолок своего убежища — временной кости, которую Гарм выделил им после «звнящего часа» как равным, не как пленникам. Левая рука, перевязанная свежей тряпицей, почти не болела. Только лёгкое, едва заметное напряжение в запястье напоминало о том, что ещё недавно здесь была открытая рана, гной, воспаление. Мазь Ирис сделала своё дело. Или его тело наконец вспомнило, как заживать по-человечески. Или пустота, которая жила внутри него теперь, когда его отражение исчезло, перестала требовать крови.

Он пошевелил пальцами — они гнулись легко, почти безболезненно. Хорошо.

Ирис спала рядом, свернувшись калачиком, подложив под голову свой изодранный, тёмно-синий плащ с серебряной нитью, который когда-то был дорогим и красивым, а теперь превратился в лохмотья, державшиеся только на честном слове и на нескольких уцелевших швах. Её лицо в тусклом, красноватом свете тлеющих углей было бледным, почти прозрачным — видно было, как под кожей пульсируют голубые жилки на висках, как под глазами залегли глубокие тени, как губы потрескались и покрылись мелкими корочками запёкшейся крови. Она дышала ровно, но неглубоко — не спала, просто отключалась между переходами, как зверь, который знает, что следующая охота начнётся через минуту.

Эйнар сел, опираясь на здоровую руку. Отцовы сапоги привычно обхватили голени — старая, потрескавшаяся кожа скрипнула, но не подвела. Лук был на плече. Стрелы — в колчане. Нож — на поясе, в ножнах из берёсты. Всё было на месте.

Он посмотрел на свою тень.

Она лежала на шкурах — короткая, бледная, почти невидимая. Не уменьшилась за ночь — но и не выросла. Застыла. Как застывает вода в луже, когда мороз становится таким сильным, что даже время перестаёт течь. Эйнар смотрел на эту тень, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. Что-то приближалось. Не опасность — неизбежность. То, что должно было случиться. То, ради чего они шли через прах и пустоту, через осколки и чёрную воду, через страх и смерть.

II

Он вышел из кости, когда небо на востоке начало светлеть бледной, болезненной желтизной, которая не предвещала солнца, а обещала тяжёлый пасмурный день. Лагерь просыпался медленно, неохотно, как раненый зверь, который боится пошевелиться, потому что каждое движение отзывается болью. Люди сидели у потухших костров, жевали вяленое мясо, переговаривались шёпотом — тихо, осторожно, как после похорон, когда каждое слово может разбедить свежую рану, но молчать уже невозможно.

Хьялмар — тот, с кем Эйнар дрался на Совете, — стоял у южного частокола, опираясь на свой боевой посох из чёрной кости. Его лицо было осунувшимся, бледным, с тёмными кругами под глазами, но в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было усталости. Была насторожённость. Напряжение. Он смотрел на юг, туда, где за частоколом расстилалась серая, выжженная равнина, и его пальцы сжимали посох так, что костяшки побелели.

— Не спится, пророк? — спросил он, не оборачиваясь. Голос его был хриплым, низким, как рык.

— Не спится, — ответил Эйнар, подходя ближе. — Что-то не так?

— Всё не так, — ответил Хьялмар. — С тех пор как вы пришли, пророк. Не в обиду — факт. «Звонящий час» был сильнее, чем когда-либо. Сильнее, чем в прошлом году. Сильнее, чем десять лет назад. Сайга говорит, что земля тревожится. Что кто-то разбудил то, что должно было спать.

— И кто же?

— Ты, — Хьялмар повернулся к нему, посмотрел прямо в глаза. В его взгляде не было обвинения — только констатация факта. — Ты — пустой. Твоё отражение исчезло. Ты — дыра в мире. И через эту дыру пустота смотрит на нас. Или мы смотрим в пустоту. Не знаю. Но что-то изменилось. И это «что-то» идёт с юга.

Эйнар посмотрел туда, куда смотрел Хьялмар. Равнина была пуста — только серая, выжженная земля, только жёсткая, колючая трава, которая шелестела на ветру, как старая, высохшая бумага, только серая, пустая пелена неба, в которой не было ни облаков, ни надежды. Но он чувствовал — там, на границе видимости, что-то двигалось. Не ветер. Не звери. Что-то другое. Тяжёлое. Медленное. Неотвратимое.

— Ты видишь? — спросил Хьялмар, заметив его взгляд.

— Чувствую, — ответил Эйнар. — Дар пульсирует. Не видение — предчувствие. Идёт. Скоро будет здесь.

— Сколько?

— Не знаю. Может, час. Может, день. Дар не показывает время.

Хьялмар кивнул — коротко, резко, как отдают честь, — и развернулся, чтобы идти к Гарму.

— Постой, — сказал Эйнар. — Кто они? Те, кто идёт? Ты знаешь?

Хьялмар замер, не оборачиваясь. Его спина — широкая, сутулая, покрытая шрамами — напряглась. Пальцы сжали посох так, что костяшки побелели.

— Стражи Порога, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на благоговение. — Те, кто охраняет границу между Пустотой и тем, что за ней. Те, кто служит Мельнице. Те, кто перемальвает тех, кто пытается пройти туда, куда не пускают живых. Они не приходят просто так. Они приходят, когда кто-то привлекает внимание Наблюдателя. Ты привлёл, пророк. Когда смотрел на Мельницу. Когда видел лицо без лица. Он заметил тебя. И теперь он послал своих псов.

Он ушёл, не дожидаясь ответа. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на землю, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало холодно.

III

Гарм собрал Совет через час.

Они сидели в тронном черепе — старейшины на черепах поменьше, воины стояли вдоль стен, опираясь на копья и топоры. Гарм восседал на своём троне из сросшихся челюстей, его костяная пясть лежала на подлокотнике, позвонки скрежетали при каждом движении. Един-

ственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — обводил собравшихся, останавливаясь на каждом лице, оценивая, взвешивая, запоминая.

Эйнар и Ирис стояли в стороне, не приглашённые в круг, но и не изгнанные из него. Сайга — шаманка, с мутными, почти белыми глазами, с осколком первозеркала на шее — сидела у ног Гарма, положив руки на колени. Её лицо было спокойным, почти счастливым, и в этом спокойствии, в этом счастье, было что-то, от чего Эйнару стало не по себе.

— Хьялмар сказал, — начал Гарм, и голос его, обычно спокойный, как у человека, который привык, что его боятся, сейчас был напряжён, как тетива перед выстрелом, — что Стражи Порога идут. С юга. От Мельницы. Что пророк привлёк внимание Наблюдателя. И теперь Наблюдатель послал своих псов, чтобы забрать то, что принадлежит ему.

Старейшины зашептались — тихо, неразборчиво, как шуршат сухие листья под ногами. Воины замерли, их лица стали бледными, пальцы сжали оружие. Даже волкодавы, лежащие у трона, подняли головы и насторожили уши.

— Это правда? — Гарм повернулся к Эйнару. Его единственный глаз смотрел прямо в душу, в самую глубину, где даже дар не мог найти отражения. — Ты видел Наблюдателя? Ты смотрел на него? Ты привлёк его внимание?

— Да, — ответил Эйнар. Голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Потому что он видел её слишком много раз. Свою и чужую. — Я видел Мельницу. Я видел Наблюдателя. Лицо без лица. Он смотрел на меня. Он сказал, что я — ключ. Что я могу войти и остановить Мельницу. Или запустить навсегда. Что выбор за мной. И что выбора нет.

— Тогда он придёт за тобой, — сказал Гарм. — Не за нами. За тобой. Ты — цель. Мы — только препятствие на пути. И он сотрёт нас. Как стирает пыль с камня. Как стирает время с памяти. Как стирает отражение с воды.

— Я знаю, — ответил Эйнар. — Но я не уйду. Не сейчас. Не брошу вас. Вы дали нам кров. Вы дали нам еду. Вы не убили нас, когда могли. Я останусь. И буду драться. Рядом с вами.

Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга у ворот Терновой Гривы. Старейшины замерли. Воины замерли. Даже волкодавы перестали дышать. Только угли в центре тронного черепа тихо потрескивали — синие, холодные, беспощадные.

Гарм смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда принимают решение, которое не даётся легко, но которое нельзя не принять.

— Хорошо, — сказал он. — Ты останешься. Ты будешь драться. Но запомни, пустой: если ты умрёшь — мы не станем оплакивать тебя. Если ты сбежишь — мы найдём тебя и убьём. Если ты предашь — мы сотрём твоё имя из памяти, как стирают пыль с камня. Ты понял?

— Понял, — ответил Эйнар.

— Тогда готовьтесь, — сказал Гарм, поднимаясь с трона. — Стражи будут здесь до заката.

Часть вторая: Обсидиановый доспех

IV

Они пришли не с юга — они пришли из-под земли.

Это случилось в полдень, когда солнце (бледное, почти белое пятно за пеленой облаков) поднялось на высоту трёх копий, а тени стали короткими, почти невидимыми, как тень Эйнара. Сначала земля дрогнула — не сильно, едва заметно, как дрожит поверхность воды от падения капли. Потом послышался звук — низкий, тягучий, похожий на стон, на скрежет, на плач. Потом пыль, которая лежала на земле неподвижно со вчерашнего «звонящего часа», вдруг взметнулась вверх, собираясь в столбы, воронки, водовороты, и из этих водоворотов, из этой пыли, из этой пустоты, начали появляться фигуры.

Сначала Эйнар подумал, что это воины — такие же, как Дети Бурь, в грубой броне из шкур и проволоки, с черепами на головах. Но когда пыль осела, он увидел, что ошибался.

Они были выше людей. На голову, на две, на три. Их тела были облачены в доспехи из полированного обсидиана — чёрного, блестящего, как вода в ночном озере, но не отражающего света. Эйнар смотрел на их доспехи и не видел в них ни своего лица, ни облаков, ни неба. Только пустоту. Чёрную, маслянистую, бесконечную. Такую же, как вода в колодце мёртвой деревни. Такую же, как слюдяная стена в пещере. Такую же, как пустота, которая жила внутри него теперь, когда его отражение исчезло.

Шлемы скрывали лица — не человеческие лица, нет, что-то другое. Гладкие, бледные маски без глаз, без ртов, без носов, только очертания, только намёк на то, что когда-то здесь было лицо. Или никогда не было. Или было, но исчезло. Как его отражение. Как его тень.

В руках они держали копья — длинные, прямые, из того же чёрного, маслянистого обсидиана, который не блестел, а гасил свет. Наконечники были треугольными, с зазубринами на краях — такие копья оставляют рваные раны, которые не заживают. Или заживают, но оставляют шрамы. Или не заживают вовсе.

Их было семеро. Эйнар пересчитал быстро, механически — привычка охотника, который должен знать, сколько целей перед ним. Семеро. Они стояли в двадцати шагах от южного частокола, ровной шеренгой, как на параде, как на смотре, как на казни, и не двигались. Только пыль кружилась у их ног — медленно, плавно, как в танце.

V

— К бою! — крикнул Гарм, и голос его прорвал тишину, как меч прорывает кожу.

Воины бросились к частоколу — с топорами, с копьями, с ножами. Кто-то взбежал на костяные уступы, чтобы стрелять из луков. Кто-то замер на месте, парализованный страхом, и его товарищи били его по щекам, трясли за плечи, кричали в лицо, пытаясь вернуть в реальность. Женщины загоняли детей в костяные норы, завешивали входы шкурами, приказывали молчать и не высовываться. Старейшины — те, кто не мог сражаться, — собирали раненых, готовили мази и бинты, молились забытым богам, которых никто уже не помнил.

Эйнар стоял у частокола, сжимая в руке лук, и смотрел на Стражей. Дар внутри пульсировал — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. Он пытался заглянуть в будущее — увидеть, куда полетят их копья, как они будут двигаться, где у них уязвимые места, — но дар молчал. Только пустота. Только тьма. Только лица без лиц, которые смотрели на него оттуда, из-под шлемов, из пустоты, из ожидания.

— Дар не работает? — спросила Ирис, подходя сзади. Её голос был тихим, спокойным, но он чувствовал её напряжение — каждый мускул, каждое сухожилие было готово к броску, к удару, к бегству.

— Нет, — ответил он, не оборачиваясь. — Наблюдатель закрыл их от меня. Или они сами — пустота. Как я.

— Тогда смотри глазами, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Смотри и запоминай. Движения, слабые места, реакцию. Дар не нужен. Ты — охотник. А охотник умеет видеть без дара.

Она протянула ему руку — холодную, дрожащую, — и сжала его пальцы. На секунду, на две, на три. Потом отпустила и отошла к раненым, которые уже начали собираться у северной стены лагеря, под защитой костяного навеса.

VI

Первый удар пришёлся по центральной части частокола.

Один из Стражей — тот, что стоял в середине шеренги, чуть выше остальных, с чуть более тёмным, маслянистым обсидианом на нагруднике — поднял копьё и метнул его. Без замаха, без разбега, без усилия — просто поднял и бросил. Копье полетело — не по дуге, как положено копьём, а по прямой, как стрела, выпущенная из арбалета. Оно пробило частокол насквозь — кости и брёвна разлетелись в щепки, в осколки, в пыль, — и вонзилось в землю в трёх шагах от Гарма, который стоял на возвышении из черепов, отдавая приказы.

Земля вокруг копья почернела. Трава — серая, жёсткая, колючая — завяла на глазах, превратилась в труху, рассыпалась в прах. Кости, лежащие рядом, покрылись трещинами, стали хрупкими, как лёд, и раскрошились от малейшего прикосновения ветра.

— Оно отравлено! — крикнул кто-то из воинов, и голос его сорвался на панический визг. — Не прикасайтесь! Распад! Оно несёт Распад!

Гарм выдернул копьё из земли — костяной пястью, правой, позвонки скрежетали, но не рассыпались. Копьё было тяжёлым — Эйнар видел это по тому, как Гарм держал его, как переносил вес с одной ноги на другую, чтобы не упасть. Чёрное, маслянистое, без единого отражения. Гарм смотрел на него, и в его единственном глазу — светлом, почти бесцветном, с точечным зрачком — горела не ярость. Страх. Тот самый, который он прятал много лет, потому что страх в Пустоте — это роскошь, которую нельзя себе позволить. Страх делает слабым. А слабых убивают.

— Стреляйте! — крикнул он, бросая копьё на землю. — Стреляйте, пока они не подошли ближе!

Воины на костяных уступах натянули луки. Десяток стрел взвился в воздух — короткий, свистящий полёт, и ударили в доспехи Стражей.

Стрелы не причинили вреда. Они отскочили от обсидиановых пластин, как отскакивает град от каменной крыши, оставляя на блестящей поверхности только мелкие, белые царапины, которые тут же исчезали, затягивались, как затягиваются раны на живом теле. Стражи не шелохнулись. Только один — тот, самый высокий, который метнул первое копьё, — повернул голову к стрелкам. На секунду, на две, на три. Потом поднял руку — медленно, плавно, как поднимается ветка на ветру, — и сжал кулак.

Стрелки закричали.

Эйнар не видел, что случилось — расстояние было слишком большим, а пыль, поднятая копьём, ещё не осела. Но он слышал их крики — высокие, тонкие, полные боли и ужаса, — и видел, как они падают с костяных уступов, как их тела рассыпаются в прах ещё до того, как касаются земли. Как их тени отделяются от тел и уходят в землю, в пустоту, в память, которая скоро станет пылью и запоёт вместе со всеми.

— Не стреляйте! — крикнул Хьялмар, выходя вперёд. — Стрелы бесполезны! Их доспехи живые! Они поглощают удары! Ближний бой! Только ближний бой! Рубите суставы! Там, где пластины сходятся, броня тоньше!

Он поднял свой боевой посох — длинный, чёрный, из плотной, как камень, кости, — и шагнул к частоколу. За ним — десяток воинов, самых смелых, самых отчаянных, тех, кто не боялся смерти или боялся, но не показывал.

Эйнар смотрел на них, и внутри, под рёбрами, дар пульсировал — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. Они не вернуться. Не все. Может быть, никто.

Часть третья: Осада

VII

Стражи не стали ждать, пока воины перелезут через частокол.

Они атаковали сами.

Это произошло так быстро, что Эйнар не успел моргнуть. Один миг — они ещё стояли в двадцати шагах, неподвижные, как статуи, как изваяния, как память, которая застыла во времени. Следующий — они уже были у частокола, перепрыгивая через колья, как перепрыгивают через ручей, даже не замечая препятствия. Их копыя сверкали в сером свете — нет, не сверкали, потому что обсидиан не давал бликов, но двигались так быстро, что казались чёрными молниями, рассекающими воздух без звука, без свиста, без предупреждения.

Хьялмар встретил первого Стража ударом посоха в грудь. Удар был сильным — Эйнар слышал, как посох загудел, как застонала кость, как заскрежетали позвонки. Страж даже не

покачнулся. Его доспех поглотил удар, как вода поглощает камень, как песок поглощает кровь, как время поглощает память. Тогда Хьялмар ударил снова — на этот раз в сустав между наплечником и нагрудником, туда, где обсидиановая пластина была тоньше, где под ней угадывалась плоть — или то, что её заменяло.

Страж дёрнулся. Его копьё, занесённое для удара, замерло в воздухе. Голова — гладкая, бледная маска без глаз — повернулась к Хьялмару, и в этом повороте было что-то, от чего Эйнару захотелось закричать. Не угроза — удивление. Страж удивился. Он не ожидал, что его ударят. Не ожидал, что его ранят. Не ожидал, что противник окажется таким настойчивым.

Хьялмар не стал ждать, пока Страж опомнится. Он ударил снова — в то же место, в ту же щель, с той же силой. Посох вошёл в доспех на палец, на два, на три. Из щели потекла не кровь — пыль. Серая, маслянистая, поющая. Пыль вытекала из раны, как вытекает вода из пробитого кувшина, и с каждым мгновением Страж становился меньше, бледнее, тише. Потом он рассыпался. Не умер — рассыпался. Как рассыпается старая, высохшая кость, которую сдавили слишком сильно. На месте Стража осталась только грудa пыли, чёрный, маслянистый доспех, который тут же начал плавиться, стекать в землю, исчезать, и слабый, голубоватый свет, который пульсировал секунду, другую, третью, а потом погас.

— Видели?! — крикнул Хьялмар, поднимая посох над головой. — Их можно убить! Бейте в суставы! Только в суставы!

Воины закричали — не от страха, от ярости, от надежды. Они бросились на Стражей, рубя, коля, ударяя, пытаясь найти ту самую щель, ту самую брешь, ту самую слабость, которая превратит чёрного, блестящего великана в грудa пыли и праха.

Но Стражей было семеро. А воинов — десяток. И каждый Страж был сильнее любого воина. Быстрее. Живучее. Беспощаднее.

VIII

Эйнар смотрел на бой и не мог двинуться с места.

Дар молчал. Не показывал ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. Только пустоту. Только тьму. Только лица без лиц, которые смотрели на него оттуда, из-за частокола, из пыли, из смерти. Он сжимал в руке лук, и пальцы его — правой, здоровой, и левой, перевязанной — побелели от напряжения. Стрелы были в колчане. Четырнадцать. Три кривые, но других нет. Но стрелять было бесполезно — стрелы отскакивали от доспехов, не причиняя вреда, только раздражая Стражей, привлекая их внимание, подставляя его под удар.

Ирис стояла рядом, опираясь на посох, и её лицо было бледным, почти прозрачным в этом сером, полуденном свете. Под глазами залегли глубокие тени, губы потрескались, и на левой щеке всё ещё виднелась тонкая, серебристая полоска — след от ножа, который почти затянулся, но оставил после себя странный, светящийся шрам. Она смотрела на бой, и в её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — горел не страх. Расчёт. Она искала слабые места, запоминала движения, считала удары.

— Они не бесконечны, — сказала она тихо, почти шёпотом, чтобы не привлекать внимания. — Их семеро. Двоих уже убили. Пятеро осталось. Но воины устают. А они — нет. Если мы не придумаем что-то ещё — лагерь падёт.

— Что ты предлагаешь? — спросил Эйнар, не отрывая взгляда от боя.

— Обрушить на них кости, — ответила она. — То самое ребро, которое ты спас вчера. Оно треснуло, когда упал шатёр. Ещё один удар — и оно рухнет. Если направить его падение на Стражей — мы сможем зажать их между костями. Или раздавить. Или хотя бы задержать.

Эйнар посмотрел туда, куда она указывала. Ребро — огромное, чёрное, с глубокими трещинами, которые появились после вчерашнего «звонящего часа», — нависало над южной частью лагеря, как гигантская дуга, как мост, который вот-вот рухнет. Под ним, прямо сейчас, дрались трое воинов с одним из Стражей. Отчаянно, безнадежно, но дрались.

— Как? — спросил он. — Как мы заставим его рухнуть? Оно весит тонны. Нужно что-то тяжёлое. Очень тяжёлое.

— Копьё, — сказала Ирис. — Копьё Стража. Оно несёт Распад. Если ударить им в основание ребра — Распад сделает своё дело. Кость рассыплется. И ребро рухнет.

— Кто ударит? — спросил Эйнар, хотя уже знал ответ.

— Ты, — сказала она, и в её голосе не было сомнения. — Ты — пустой. Распад не действует на тебя. Или действует, но медленнее. Ты можешь взять копьё в руки и не рассыпаться. Никто другой не выживет.

Эйнар посмотрел на свои руки. Правую — здоровую, левую — перевязанную. Пальцы левой руки всё ещё болели, но уже не так сильно. Они могли держать копьё. Могли бросить. Могли попасть.

— Хорошо, — сказал он. — Но мне нужно копьё.

IX

Он нашёл копьё в трёх шагах от трупа первого Стража, которого убил Хьялмар.

Оно лежало на земле, чёрное, маслянистое, длинное. Рядом — доспех, который всё ещё плавился, стекая в землю чёрными, маслянистыми каплями. От Стража не осталось ничего — только пыль, только доспех, только копьё. И слабый, голубоватый свет, который умирал, как умирает надежда в Пустоте — медленно, неохотно, с последней, отчаянной вспышкой, которая освещает лица на секунду, на две, на три, а потом гаснет навсегда.

Эйнар наклонился, протянул руку к копьё. Пальцы дрожали — не от страха, от того, что он собирался сделать. Если Ирис ошиблась — если Распад действует и на него, — он рассыплется в прах, как те воины на костяных уступах. Его тень — короткая, бледная, почти невидимая — исчезнет навсегда. И никто не вспомнит, что он был. Что он дышал. Что он любил. Что он боялся.

Он взял копьё.

Холодное. Абсолютно холодное. Такое же, как обсидиановый шар Гарма. Такое же, как вода в колодце мёртвой деревни. Такое же, как пустота, которая жила внутри него теперь, когда его отражение исчезло. Копьё не жгло — оно забирало тепло. Забирало кровь. Забирало жизнь. Но он не рассыпался. Стоял, сжимая в руке чёрное, маслянистое древко, и чувствовал, как оно пульсирует — в такт его сердцу, в такт его дару, в такт песне пыли, которая всё ещё звучала где-то на границе слышимости, тихая, далёкая, но живая.

— Получилось, — прошептал он, и голос его был чужим, надтреснутым, как у человека, который слишком долго смотрел на пустоту и сам стал пустотой. — Я жив. Я ещё здесь.

— Не стой, — крикнула Ирис откуда-то сбоку. — Бросай! Быстрее! Они заметили тебя!

Эйнар поднял голову. Трое Стражей — те, что стояли ближе всего к частоколу, — повернулись к нему. Их гладкие, бледные маски без глаз смотрели прямо на него, и в этом взгляде, в этом отсутствии взгляда, было что-то, от чего захотелось упасть на колени, закрыть голову руками и сдаться. Но он не упал. Не закрылся. Не сдался.

Он развернулся, сделал два шага к ребру, замахнулся — как учил отец, когда они бросали камни в замёрзшее озеро, чтобы лёд трещал и рыба всплывала к поверхности, — и метнул копьё.

Оно полетело — не по прямой, как копьё Стражей, а по дуге, как обычное, человеческое копьё. Высоко, тяжело, почти неуклюже. Эйнар смотрел на него и молился — не богам, в которых не верил, а дару, который молчал, пустоте, которая жила внутри него, Наблюдателю, который смотрел на него оттуда, из Мельницы, из лица без лица, из ожидания.

Пожалуйста, — думал он. — Пожалуйста, пусть оно попадёт.

Копьё ударило в основание ребра — туда, где трещины были глубже всего, где чёрная, маслянистая смола сочилась наружу, как кровь из раны, где кость была тоньше всего, слабее всего, ближе всего к смерти.

Ребро вздрогнуло.

Не сильно — едва заметно, как вздрагивает дерево от удара топора, когда лезвие входит в ствол, но не пробивает его до конца. Трещины расширились, потемнели, из них посыпалась не смола — пыль. Серая, маслянистая, поющая. Пыль, которая пела ту же песню, что и вчера, только тише, только дальше, только печальнее.

— Ещё! — крикнула Ирис. — Ещё раз! Оно почти упало!

Х

Эйнар оглянулся в поисках второго копия.

Оно лежало в десяти шагах, у ног воина, который пытался подняться после удара Стража. Воин был жив — дышал, хрипел, шевелился, — но его правая рука висела плетью, из плеча

торчал осколок чёрного, маслянистого обсидиана, и кровь — тёмная, густая, почти чёрная — заливала землю. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было ни страха, ни надежды, ни боли. Было что-то другое. Просьба. Возьми копьё, пустой. Брось. Спаси нас.

Эйнар подбежал, наклонился, схватил копьё. Холодное. Абсолютно холодное. Такое же, как первое. Такое же, как пустота. Он не рассыпался. Стоял, сжимая в руке чёрное, маслянистое древко, и чувствовал, как оно пульсирует — в такт его сердцу, в такт его дару, в такт песне пыли.

Второй бросок был быстрее, точнее, отчаяннее. Эйнар не целился — он знал, куда нужно бросить. Дар не показывал будущее, но он показывал путь. Туда, где трещины были глубже всего. Туда, где кость была тоньше всего. Туда, где смерть была ближе всего.

Копьё ударило в то же место. В ту же трещину. В ту же щель.

Ребро застонало. Низко, тяжело, как стон раненого зверя, который не может идти дальше, но не хочет сдаваться. Трещины побежали по кости, как паутина, как морщины вокруг глаз, как следы от ножа на старой, засохшей коже. Из них посыпалась пыль — не горстями, потоками, реками. Пыль закружилась в воздухе, запела громче, зазвенела выше, и в этом звоне, в этой песне, в этой пыли, Эйнар услышал голоса. Тех, кто рассыпался в прах. Тех, кто стал частью этой пыли. Тех, кто ждал, когда кто-нибудь придёт и услышит.

— Падает! — крикнул кто-то из воинов. — Падает! Берегись!

Эйнар отпрыгнул в сторону, упал на землю, прижался к ней всем телом, зажмурился, затаил дыхание. Ребро рухнуло — не сразу, сначала медленно, плавно, как падает снег с крыши после оттепели, а потом быстро, тяжело, неотвратно. Оно ударило по земле, подняв тучу пыли, и эта пыль накрыла лагерь, закрыла небо, закрыла солнце, закрыла всё.

Эйнар лежал на земле, и пыль оседала на него, как снег, как пепел, как память. Он слышал, как кричат воины — от радости, от боли, от отчаяния. Слышал, как скрежешут кости, как трещат позвонки, как хрустит чёрный, маслянистый обсидиан под тяжестью упавшего ребра. Слышал, как поёт пыль — громко, радостно, безнадежно.

Он открыл глаза.

Ребро лежало поперёк южной части лагеря, придавив троих Стражей. Они не рассыпались — не успели, — но и не двигались. Их чёрные, блестящие доспехи треснули, из трещин текла не пыль — смола, чёрная, маслянистая, пахнущая горечью и пустотой. Их копья валялись рядом, бесполезные, мёртвые. Их гладкие, бледные маски без глаз смотрели в небо — серое, пустое, безнадежное, — и в этом взгляде, в этом отсутствии взгляда, было что-то, от чего Эйнару стало холодно.

— Двое осталось, — сказала Ирис, появляясь из пыли, как привидение, как тень, как надежда. Её лицо было бледным, почти белым, на губах — запёкшаяся кровь, но в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — горел огонь. Тот самый, который он видел на поляне, когда она готовилась к последнему удару. — Двое. Мы можем их добить. Или

они уйдут. Стражи не дерутся до конца. Если слишком много падает — они отступают. Это не их война. Это охота. А охотники не рискуют без нужды.

Часть четвёртая: Первый авторитет

XI

Эйнар не стал ждать, пока Стражи отступят сами.

Он поднялся на ноги, отряхнул пыль с одежды, с лица, с волос. Лук был на плече. Стрелы — в колчане. Нож — на поясе. Всё было на месте. Он сжал в руке обсидиановый осколок — тот самый, который подобрал на поле битого стекла, который не светился, не пульсировал, не показывал образов, но был частью первозеркала, частью памяти мира, частью пустоты, которая ждала.

Осколок был холодным, но не обжигающим — просто холодным, как лёд, как вода, как пустота. Эйнар поднёс его к глазам, посмотрел в глубину. Сначала была только чернота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна. Потом — точка. Маленькая, едва заметная, светящаяся слабым, голубоватым светом. Потом — образ.

Он увидел не будущее — настоящее. Но другое настоящее. То, которое происходило здесь, в лагере, но которое не видели глаза. То, которое видел только дар.

Двое Стражей, оставшихся в живых, отступали к южному частоколу. Их движения были плавными, бесшумными, почти грациозными. Они не бежали — они плыли над землёй, как плывут тени над водой, как плывут облака над небом, как плывёт время над памятью. Их доспехи не блестели — они гасили свет, поглощали его, как вода поглощает камень.

Но один из них, тот, что шёл слева, чуть прихрамывал. Его левая нога — от колена до ступни — была покрыта трещинами. Маленькими, тонкими, как паутина, как морщины вокруг глаз, как следы от ножа на старой, засохшей коже. Из трещин текла пыль — серая, маслянистая, поющая. Пыль, которая пела ту же песню, что и вчера, только тише, только дальше, только печальнее.

Эйнар опустил осколок, убрал за пазуху. Посмотрел на Ирис. Она стояла рядом, опираясь на посох, и её лицо было бледным, почти прозрачным, но в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — горел вопрос.

— Что ты видел? — спросила она.

— Слабого, — ответил он. — Тот, что слева, ранен. Его доспех треснул на левой ноге. Если ударить туда — он рассыплется. Второй, может быть, отступит. Или нет. Не знаю. Но мы должны попробовать.

— Мы? — переспросила она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Я пойду с тобой. Не одна. Вдвоём.

— Нет, — ответил он. — Ты нужна здесь. Раненым. Их много. Им нужна твоя помощь.

— А тебе? — спросила она. — Ты не нуждаешься в помощи?

— Нуждаюсь, — сказал он. — Но я не могу рисковать тобой. Если я умру — ты должна идти дальше. К Стене. К Буре. К Двери. Ты должна найти ответ. Или вопрос. Или то и другое вместе.

Она смотрела на него долго, изучающе. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — он увидел то, чего не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Протест. Она не хотела оставаться. Она хотела идти с ним. Рядом. Защищать. Прикрывать. Умирать, если нужно.

Но она не сказала ни слова. Только кивнула — коротко, резко, как отдают честь, — и отошла к раненым.

XII

Эйнар перелез через частокол в том месте, где колья были сломаны первым копьём Стража.

Земля за частоколом была чёрной, маслянистой, покрытой трещинами, из которых сочился не свет — отсутствие света. Пыль кружилась у ног, пела, звала. Эйнар шёл, сжимая в руке лук, и чувствовал, как дар внутри пульсирует — не видение, предчувствие. Странное, тяжёлое, липкое, как смола. Что-то должно было случиться. Что-то, что изменит всё. Или не изменит ничего. Неважно. Он должен был идти.

Стражи заметили его, когда он прошёл половину расстояния до них. Тот, что слева — раненый, с трещинами на доспехе, — повернул голову. Его гладкая, бледная маска без глаз смотрела прямо на Эйнара, и в этом взгляде, в этом отсутствии взгляда, было что-то, от чего захотелось упасть на колени, закрыть голову руками и сдаться. Но он не упал. Не закрылся. Не сдался.

Он поднял лук, натянул тетиву. Стрела легла на ложбинку, тетива загудела — низко, глухо, как больной орган. Дар внутри пульсировал, показывая траекторию — стрела уйдёт влево, если он выстрелит сейчас. Нужно подождать. Ещё секунду. Ещё две. Пока ветер не стихнет.

Он ждал. Стран не двигались. Только смотрели. Только ждали. Только оценивали.

Эйнар выстрелил.

Стрела сорвалась с тетивы с сухим шелчком. Она полетела — не по прямой, как стрела, а по дуге, как копьё, как надежда, как отчаяние. Она ударила в левую ногу Страж — туда, где доспех был тоньше всего, туда, где трещины были глубже всего, туда, где смерть была ближе всего.

Страж дёрнулся. Его левая нога подкосилась, он упал на одно колено, пытаясь подняться, но не мог. Из трещин в доспехе хлынула пыль — серая, маслянистая, поющая. Пыль закружилась в воздухе, запела громче, зазвенела выше, и в этом звоне, в этой песне, в этой пыли,

Эйнар услышал голос. Не тех, кто рассыпался в прах — свой. Свой голос, который говорил: «Ты можешь. Ты должен. Ты не один».

Второй Страж — тот, что справа, неповреждённый, — повернулся к Эйнару. Его маска без глаз смотрела прямо в душу, в самую глубину, где даже дар не мог найти отражения. Он поднял копьё, замахнулся, чтобы метнуть — и в этот момент из-за частокола вылетела стрела. Чья-то рука — не Эйнара, другого стрелка, воина, который спрятался за обломками ребра и ждал своего часа — послала стрелу прямо в сустав локтя Страж.

Страж выронил копьё. Оно упало на землю, чёрное, маслянистое, бесполезное. Страж замер — на секунду, на две, на три. Потом развернулся и пошёл прочь — не на юг, откуда пришёл, а на восток, туда, где за равниной, за пустотой, за прахом, чернели скалы. Раненый Страж пополз за ним, оставляя за собой след из пыли, из пепла, из памяти.

Эйнар стоял, сжимая в руке лук, и смотрел им вслед. Дар внутри затихал — не успокаивался, а замирал, прислушивался, как зверь, который чует опасность, но не решается вылезти из норы. Бой кончился. На сегодня.

ХШ

Он вернулся в лагерь через ту же брешь в частоколе. Воины встречали его молча — не кричали, не аплодировали, не хлопали по плечам. Они просто смотрели. В их глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не ненависть, не подозрение. Уважение.

Хьялмар подошёл к нему, остановился в трёх шагах. Его лицо было бледным, измождённым, с глубокими царапинами на щеке — след от копья Страж которое прошло в волосе от смерти. Но в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было усталости. Была гордость.

— Ты спас нас, пророк, — сказал он. Голос его был хриплым, сорванным, как у человека, который кричал всю ночь и не мог остановиться. — Ребро, копьё, выстрел. Ты спас десяток моих воинов. Ты спас детей, которые прятались под ребром. Ты спас женщин, которые сидели в норах и молились. Ты спас Гарма, который стоял под ударом. Это дорогого стоит.

— Я ничего не сделал, — ответил Эйнар, хотя внутри, под рёбрами, пульсировало что-то тёплое, живое, настоящее. — Я просто стоял. Смотрел. Бросал. Стрелял. Не убежал.

— Ты стоял там, где другие падали, — сказал Хьялмар. — Ты смотрел туда, где другие слепли. Ты бросал то, от чего другие рассыпались. Ты стрелял туда, где другие боялись целиться. Это и есть подвиг. Не драться — не упасть. Не бежать — выстоять. Не закрыть глаза — смотреть.

Он кивнул — коротко, резко, как отдают честь, как бросают вызов, как говорят «спасибо», когда сказать «спасибо» недостаточно, — и ушёл, не дожидаясь ответа. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на землю, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

Ирис подошла к нему, когда он стоял у частокола, глядя на юг, туда, где скрылись Стражи. Её лицо было бледным, почти прозрачным, на губах — запёкшаяся кровь, но в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — горел огонь. Тот самый, который он видел на поляне, когда она готовилась к последнему удару. Тот самый, который не погас, не выцвел, не сломался.

— Ты был великолепен, — сказала она. — Не как пророк — как человек. Не как пустота — как охотник. Ты сделал то, что должен был сделать. И ты выжил.

— Мы выжили, — поправил он.

— Мы, — согласилась она. — Все. Почти все. Четверо воинов пали. Ещё трое ранены. Но лагерь устоял. Гарм сказал, что завтра мы можем идти. К Стене. К Буре. К Двери. Он не будет держать нас. Он сказал, что ты заплатил за право уйти.

Эйнар посмотрел на свои руки. Правую — здоровую, левую — перевязанную. Пальцы левой руки всё ещё болели, но уже не так сильно. Он пошевелил ими — отозвалось тупой, ноющей пульсацией, но пальцы гнулись. Хорошо. Значит, он сможет стрелять дальше. Сможет идти. Сможет драться. Сможет дойти до конца.

— Завтра, — сказал он. — На рассвете. Мы уходим.

— Завтра, — ответила она. — На рассвете.

Она взяла его за руку — холодную, дрожащую, но живую, — и они пошли в свою кость, между рёбер, мимо черепов, мимо шкур, мимо глаз, которые смотрели на них с уважением, с благодарностью, с надеждой.

А за частоколом, на юге, пыль лежала тихо. Она ждала. Она всегда ждала. У неё было время. Вечность.

Но она знала: они вернуться. Не завтра — послезавтра. Или через неделю. Или через год. Но вернуться. Потому что Мельница звала. Потому что Наблюдатель смотрел. Потому что пустота не терпит пустоты.

И потому что Эйнар, пустой, чьё отражение исчезло, чья тень стала короткой, как обрубок пальца, чьё имя ещё не забыли, сделал первый шаг к тому, чтобы стать не просто пророком — героем.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 32

ГЛАВА 33. ЧЕСТЬ И ПРАХ

Часть первая: Запах победы и горечи

I

Эйнар проснулся от того, что тишина перестала быть пустой. Она наполнилась звуками, которых не было прошлой ночью: стонами раненых, скрежетом костей, которые воины стас-

кивали в кучу, чтобы укрепить пролом в частоколе, и редкими, отрывистыми криками детей, которых матери оттащивали от тел Стражей — подальше от чёрного, маслянистого обсидиана, что всё ещё сочился ядом Распада.

Он лежал на спине, глядя в костяной потолок своей временной кости, и чувствовал, как левая рука пульсирует тупой, ноющей болью — не такой, как раньше, когда гной разъедал рану, а другой, новой. Болью усталых мышц, которые сжимали копьё, метали его в основание ребра, сжимали лук, когда стрела летела в сустав Стража. Болью, которая говорила: ты жив. Ты ещё здесь. Ты не исчез.

Он вспомнил вчерашний день. Копьё в руке — холодное, абсолютно холодное, как вода в колодце мёртвой деревни. Как пустота, которая жила внутри него теперь, когда его отражение исчезло. Он вспомнил, как метал его — не целясь, а доверяясь дару, который не показывал будущее, но показывал путь. Туда, где трещины были глубже всего. Туда, где кость была тоньше всего. Туда, где смерть была ближе всего. И ребро рухнуло — медленно, тяжело, неотвратимо, подняв тучу пыли, которая накрыла лагерь, закрыла небо, закрыла солнце, закрыла всё.

Ирис спала рядом, свернувшись калачиком, подложив под голову свой изодранный плащ. Её лицо в сером, предрассветном свете, который сочился сквозь щели между шкурами, было бледным, почти прозрачным. Под глазами залегли глубокие тени — следы бессонной ночи, когда она перевязывала раны, вливая в рот раненым воду, шептала слова утешения тем, кто уже не мог слышать. Её губы потрескались, на левой щеке всё ещё виднелась тонкая, серебряная полоска — шрам от ножа, который почти затянулся, но оставил после себя странный, светящийся след. В свете тлеющих углей этот шрам казался голубоватым, похожим на те искры, что мелькали в тумане, в осколках первозеркала, в глубине чёрной воды.

Он смотрел на неё и думал о том, что она не спала уже двое суток. Сначала — «звонящий час», когда она слушала землю, когда голоса пыли звали её, когда она едва не ушла туда, откуда не возвращаются. Потом — атака Стражей, когда она таскала раненых в лазарет, перевязывала, вливая воду, зашивала раны обычной иглой и ниткой, потому что мазь кончилась, а силы — нет. И теперь — эта ночь, когда она лечила даже врагов. Когда она рисковала жизнью, чтобы спасти тех, кто пытался её убить.

Эйнар сел, опираясь на здоровую руку. Отцовы сапоги привычно обхватили голени — старая, потрескавшаяся кожа скрипнула, но не подвела. Лук был на плече. Стрелы — в колчане. Он пересчитал их на ощупь: четырнадцать. Три кривые, но других нет. Нож — на поясе, в ножнах из берёсты. Всё было на месте.

Он вышел из кости, когда небо на востоке только начинало светлеть — бледной, болезненной желтизной, которая не предвещала солнца, а обещала тяжёлый пасмурный день. Лагерь встречал его запахами — дыма, крови, пыли. И ещё чем-то новым, сладковатым, приторным, похожим на запах гнилого мяса, но не такого, которое разлагается, а такого, которое превращается в прах.

Трупы Стражей. Они лежали там, где упали — трое под обрушенным ребром, двое на подступах к частоколу, один у северной стены, куда его загнали воины Гарма и забили насмерть копьями, целясь в суставы. Их доспехи больше не блестели — они потускнели, превратились в серый, пепельный цвет, похожий на цвет старой, вылинявшей ткани. Из трещин, которые

покрывали обсидиановые пластины, сочилась не смола — пыль. Сухая, серая, мёртвая. Пыль, которая больше не пела.

Вороны сидели на трупах. Огромные, чёрные, с жёлтыми глазами, они клевали чёрный, маслянистый обсидиан, который ещё не превратился в пепел, и их клювы ломались, крошились, но они продолжали клевать. Вороны не боялись Распада. Или боялись, но голод был сильнее. Эйнар смотрел на них и думал о том, что когда-то он боялся воронов. Когда был ребёнком. Когда дар впервые показал ему смерть Торкеля в серебряном кулоне. Теперь он не боялся. Теперь он понимал: вороны — просто звери. Они не несут смерть — они приходят после неё. Как он. Как Ирис. Как все, кто выжил в Пустоте.

II

Гарм стоял у южного частокола, опираясь на костяную пясть, и его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — смотрел на равнину, туда, где скрылись последние двое Стражей. Волкодавы лежали у его ног, положив морды на лапы, и их жёлтые глаза были устремлены туда же — в пустоту, в серую, выжженную землю, в туман, который снова начинал подниматься от земли, сворачиваясь в тонкие, почти незаметные струйки.

Он стоял неподвижно, как изваяние, и Эйнару показалось, что он не дышит. Только костяная пясть слегка подрагивала — позвонки скрежетали друг о друга, издавая тот самый сухой, тоскливый звук, который Эйнар уже научился узнавать. Звук старой, рассыпающейся кости, которая ещё держится, но уже знает, что скоро её время кончится.

— Ты не спал, пророк, — сказал Гарм, не оборачиваясь. Голос его был низким, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась усталость — та самая, глухая, беспросветная усталость человека, который слишком долго сражается и не знает, когда это кончится.

— Не спал, — ответил Эйнар, подходя ближе. — Думал.

— О чём?

— О них. О Стражах. Они пришли не за лагерем. Они пришли за мной. За ключом. Наблюдатель послал их, чтобы забрать то, что принадлежит ему.

Гарм медленно кивнул — так кивают, когда слышат то, что знали, но надеялись не услышать.

— Ты прав, — сказал он. — Они прорывались к твоей кости. Хьялмар видел. Тот, который раненый, — он шёл прямо к твоему убежищу, сбивая всех, кто вставал на пути. Если бы ты не обрушил ребро — они бы взяли тебя. Или убили. Или забрали с собой. Не знаю. Но ты бы не остался здесь.

Он помолчал, и его единственный глаз сузился, став похожим на щель в стене, через которую видно только темноту.

— Хьялмар сказал, что ты метал копьё, — продолжал Гарм. — Дважды. Первое пробило основание ребра. Второе — добило. Ты не учился этому. Не в этом лагере. Не у моих воинов. Ты просто... сделал. Как будто знал, куда бросать. Как будто кто-то показал тебе.

— Дар показал, — ответил Эйнар. — Не видение — путь. Место, где кость тоньше всего. Где трещины глубже всего. Где смерть ближе всего.

— И ты не боялся, что рассыплешься? — спросил Гарм. — Копья Стражей несут Распад. Даже мои воины не рискуют прикасаться к ним дольше, чем нужно. А ты держал его. Метал. Попал. И остался жив.

— Я — пустой, — сказал Эйнар. — У меня нет отражения. Распад не может забрать то, чего нет. Или может, но медленнее. Я не знаю. Я просто сделал. Потому что должен был.

Гарм повернулся к нему. Его единственный глаз смотрел прямо в душу, в самую глубину, где даже дар не мог найти отражения. В этом взгляде не было ни гнева, ни страха, ни удивления. Было что-то другое. Уважение. То самое, которое Эйнар не искал, но получил. Которое нельзя было купить, но можно было заработать кровью или словом.

— Ты спас нас, пророк, — сказал Гарм. — Не только лагерь — меня. Я стоял под ребром. Если бы оно рухнуло на меня — даже моя костяная пясть не спасла бы. Мои волкодавы разбежались бы. Мои воины плакали бы. А потом выбрали бы нового вождя. И новый вождь, может быть, убил бы тебя. Или изгнал. Или забыл. Не знаю. Но ты спас меня. Я помню это. Я не забуду.

Он отвернулся и пошёл к тронному черепу, волоча костяную пясть, оставляя на земле глубокие, чёрные царапины. Волкодавы поднялись и побрели за ним — усталые, постаревшие на десяток лет за эту ночь, с глазами, которые видели слишком много, чтобы когда-нибудь закрыться в спокойном сне.

III

Хьялмар встретил Эйнара у входа в лазарет — временную кость, которую Гарм выделил для раненых. Его лицо было бледным, измождённым, с глубокими царапинами на щеке — след от копья Стража, которое прошло в волосе от смерти. Но в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было усталости. Была гордость.

— Твоя женщина там, — сказал он, кивая на вход в кость. — Работает с самого утра. Не спала. Не ела. Не пила. Только перевязывает, вливает воду в рот, шепчет какие-то слова — молитвы, наверное. Или заклинания. Я не понимаю. Но раны заживают быстрее, чем должны. Даже у тех, кто должен был умереть.

Он помолчал, провёл рукой по лицу, стирая пыль и пот.

— Я видел, как она лечила одного из моих воинов, — продолжал Хьялмар. — У него была рана в животе. Кишки вываливались. Я думал, он умрёт. Я хотел добить его, чтобы не мучился. Она оттолкнула меня. Сказала: «Уйди. Или я сделаю так, что твои кишки вывалятся наружу, и посмотрим, как тебе понравится». Я ушёл. Она зашила его. Он жив. Он спит. Он не кричит. Это... это не лечебное дело. Это колдовство. Или дар. Или то и другое вместе.

— Она — целительница из Ордена, — сказал Эйнар. — Её учили не только зашивать раны — её учили возвращать с того света. Или не возвращать — давать время. Время, чтобы

попрощаться. Время, чтобы вспомнить. Время, чтобы не умереть с мыслью, что ничего не успел.

— Она лечит и наших, и ваших, — сказал Хьялмар, и в его голосе появились новые нотки — не возмущение, не злоба, а что-то другое, похожее на недоумение. — Детей Бурь — да. Воинов Гарма — да. Но она лечит и их. Пленных. Стражей. Тех, кто пытался убить нас.

Он покачал головой, развернулся и ушёл, не дожидаясь ответа. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на землю, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало не по себе.

Он шагнул в лазарет.

Часть вторая: Нож против правил

IV

Внутри кости было темно, сыро, тесно. Воздух был пропитан запахами крови, мазей, горелого мяса и чего-то ещё, сладковатого, приторного, похожего на запах гниющих цветов. Тлеющие угли в очаге давали не тепло — свет. Слабый, красноватый, похожий на закат, которого здесь никогда не было.

Раненые лежали на шкурах вдоль стен — десятков воинов Детей Бурь и двое Стражей. Воины стонали, метались, звали матерей, жён, детей. Стражи лежали неподвижно, как изваяния, как статуи, как мёртвые, но их гладкие, бледные маски без глаз поворачивались вслед за Ирис, когда она проходила мимо. Они не издавали ни звука — только смотрели. Или не смотрели — Эйнар не разбирал.

Ирис стояла на коленях у тела воина — молодого парня, которого он видел вчера на Совете. Его правая рука была разорвана от плеча до локтя — копьё Стража прошло навывлет, оставив рваную, чёрную рану, из которой сочилась не кровь — пыль. Серая, маслянистая, поющая. Пыль, которая пела ту же песню, что и вчера, только тише, только дальше, только печальнее.

Эйнар сел на корточки рядом, посмотрел на рану. Пыль сочилась из неё, как сочится вода из пробитого кувшина, и с каждым мгновением воин становился бледнее, тише, меньше. Его лицо — грубое, обветренное, с глубокими шрамами — было спокойным, почти счастливым, и в этом спокойствии, в этом счастье, было что-то, от чего Эйнару стало холодно.

— Держи его, — сказала Ирис, не оборачиваясь, и голос её был ровным, спокойным, как у человека, который делает эту работу тысячу лет и не боится ни крови, ни боли, ни смерти. — Держи за плечи. Он будет кричать. Не дай ему дёрнуться.

Эйнар опустил на колени, положил руки на плечи воина. Парень смотрел на него — светлые, почти бесцветные глаза, расширенные зрачки, сухие, потрескавшиеся губы, которые шевелились, выплёвывая обрывки молитв или проклятий — Эйнар не разбирал слов, да и не хотел разбирать.

Ирис вытащила из раны осколок обсидиана — чёрный, маслянистый, длиной с палец. Парень закричал — высоко, тонко, страшно, — и его тело выгнулось дугой, но Эйнар держал его, не отпускал, прижимал к земле, шептал: «Тише, тише, сейчас пройдёт, сейчас станет легче, сейчас ты уснёшь и проснёшься здоровым».

Осколок упал на землю, и земля вокруг него почернела. Трава — серая, жёсткая, колючая — завяла на глазах, превратилась в труху, рассыпалась в прах. Кости, лежащие рядом, покрылись трещинами, стали хрупкими, как лёд, и раскрошились от малейшего прикосновения ветра.

Ирис залила рану мазью — густой, чёрной, пахнувшей южными травами и чем-то ещё, сладковатым, приторным, почти тошнотворным, — и замотала чистыми тряпицами, оторванными от подола рубахи. Её пальцы двигались быстро, уверенно, без лишних движений — как у человека, который делал это тысячи раз и знал, что каждое лишнее движение может стоить жизни.

— Отнесите это к частоколу, — сказала Ирис одному из воинов, который помогал ей. — Не трогайте голыми руками. Заверните в шкуру. Распад ещё жив. Он может убить.

Воин кивнул — коротко, резко, как отдают честь, — завернул осколок в шкуру и выбежал из лазарета.

V

Ирис перевязала рану воина — залила её мазью, замотала чистыми тряпицами — и перешла к следующему. И следующему. И следующему.

Эйнар помогал ей — держал раненых, подавал воду, разрезал тряпицы на бинты, успокаивал тех, кто боялся, что умрёт. Он не лечил — он просто был рядом. И этого, наверное, было достаточно.

Он смотрел на её руки — тонкие, бледные, с обломанными ногтями. Они двигались быстро, уверенно, без лишних движений — как у человека, который делал это тысячи раз и знал, что каждое лишнее движение может стоить жизни. Он смотрел на её лицо — бледное, измождённое, с тёмными кругами под глазами — и думал о том, что она, наверное, никогда не отдыхала. Даже в Ордене, когда другие ученики спали, она сидела над книгами, запоминая названия трав, дозировки, способы наложения швов. Даже в Пустоте, когда другие воины праздновали победу, она перевязывала раны и утешала умирающих.

Через час, когда они закончили с воинами, Ирис подошла к Стражам.

Они лежали в дальнем конце кости, отдельно от остальных, прикованные к костям цепями из позвонков, которые скрежетали при каждом движении. Их доспехи были покрыты трещинами — глубокими, чёрными, из которых всё ещё сочилась пыль. Их гладкие, бледные маски без глаз смотрели в потолок — чёрный, костяной, бесконечный, — и в этом взгляде, в этом отсутствии взгляда, было что-то, от чего Эйнару захотелось отступить на шаг.

— Ты не можешь их лечить, — сказал он, хватая её за руку. — Они — враги. Они пришли убивать. Они убили твоих пациентов. Они убили детей, которые прятались в норах. Они не заслуживают твоей помощи.

Его голос был жёстче, чем он хотел. Громче. Требовательнее. Он сам не ожидал от себя такой злости. Но внутри, под рёбрами, пульсировало что-то горячее, липкое, похожее на гнев. Гнев на Стражей за то, что они сделали. Гнев на Ирис за то, что она не чувствует этого гнева. Гнев на себя за то, что он не может её остановить.

Ирис высвободила руку. Её пальцы оставили на его запястье красные полосы — следы ногтей, которые впились в кожу.

— Дело не в заслугах, — ответила она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Дело в том, что если я не вылечу их — они умрут. А если они умрут — их доспехи рассыплются в пыль. А если доспехи рассыплются — мы не сможем их изучить. Не узнаем, где у них слабые места. Не поймём, как с ними бороться. Гарм хочет убивать их — я хочу понять их.

Она говорила спокойно, ровно, как будто объясняла ребёнку, почему нельзя трогать горячую печь. И это спокойствие, эта ровность, эта уверенность — они бесили его ещё больше.

— А если они очнутся и нападут? — спросил он. — Если они убьют тебя? Если они сбегут и приведут других?

— Тогда ты убьёшь их, — сказала Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Ты — охотник. Ты умеешь убивать. Ты убьёшь их раньше, чем они успеют сделать мне больно. Я верю в тебя. Верь и ты в меня.

Она опустилась на колени рядом со Стражем, который лежал ближе всех — его левая нога была раздроблена упавшим ребром, из трещин в доспехе текла пыль, серая, маслянистая, поющая. Ирис протянула руку к его ноге — и в этот момент вход в лазарет откинулся.

VI

На пороге стоял Гарм.

Его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — скользнул по лазарету, по раненым воинам, по их перевязанным ранам, по их лицам, на которых застыло облегчение, и остановился на Ирис. На её руке, протянутой к Стражу. На её пальцах, которые уже почти касались чёрного, маслянистого обсидиана.

За его спиной стояли воины — десять, пятнадцать, двадцать. С топорами, с копьями, с ножами. Их лица были бледными, глаза — расширенными. Они смотрели на Ирис, и в их взглядах было непонимание. Как можно лечить врага? Как можно тратить на него воду, мазь, время? Как можно не ненавидеть того, кто убил твоего брата, твоего отца, твоего сына?

— Что ты делаешь, женщина? — спросил Гарм, и голос его был тихим, спокойным, но в этом спокойствии было что-то, от чего Эйнару захотелось закрыть уши. То спокойствие,

которое бывает перед смертельным ударом, когда человек уже выбрал жертву и не сомневается в своём выборе.

— Лечу, — ответила Ирис, не оборачиваясь. — Как видите. Перевязываю раны. Останавливаю кровь. Снимаю боль. Делаю то, чему меня учили в Ордене. То, что умею. То, что должна.

— Ты лечишь врагов, — сказал Гарм, делая шаг вперёд. — Тех, кто убил моих воинов. Тех, кто пытался убить моих детей. Тех, кто служит Наблюдателю. Ты тратишь на них мазь, которая досталась нам кровью. Ты тратишь на них воду, которой не хватает моим людям. Ты тратишь на них время, которое могла бы потратить на тех, кто заслуживает жизни.

Его голос становился громче с каждым словом. Тяжелее. Злее.

— Я приказал добить их! — крикнул он. — Выставить их головы на колья! Показать Наблюдателю, что мы не боимся! А ты... ты послушалась моего приказа! Ты предала мою волю! Ты — чужая! Ты — не Дитя Бурь! Ты не имеешь права здесь приказывать!

Он подошёл к Ирис, остановился в двух шагах. Его костяная пясть скрежетнула — позвонки заскрежетали друг о друга, издав тот самый сухой, тоскливый звук, который Эйнар уже научился узнавать. Его единственный глаз смотрел прямо в душу, в самую глубину, где даже дар не мог найти отражения.

— Ты предательница, — сказал он. — Ты заслуживаешь смерти.

VII

Ирис поднялась с колен, опираясь на посох. Её левая нога болела — она поморщилась, но не застонала. Никогда не показывала слабости. Даже сейчас. Даже когда думала, что он не видит. Она смотрела на Гарма, и в её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — не было страха. Была усталость. И спокойствие.

— Мёртвые не станут слушать твои приказы, вождь, — сказала она, и голос её был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Потому что она видела её слишком много раз. Свою и чужую. И поняла, что страх не защищает. Он только отнимает силы. — А эти бойцы могут нам пригодиться. Не сегодня — завтра. Или через месяц. Или через год. Когда Наблюдатель пошлёт новых Стражей. Когда мы будем знать, куда бить. Когда мы сможем защитить твой лагерь не кровью — знанием.

Она говорила спокойно, ровно, как будто не замечала воинов за спиной Гарма, не слышала их угрожающего рычания, не видела их оружия, направленного на неё.

— Ты лжёшь, — сказал Гарм, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на сомнение. — Ты хочешь спасти их. Потому что ты — целительница. Потому что ты не можешь смотреть, как кто-то умирает, даже если этот кто-то — враг. Ты слабая. Ты не годишься для Пустоты.

— Я выжила в Пустоте дольше, чем любой из твоих воинов, — ответила Ирис. — Я прошла через прах, через осколки, через чёрную воду. Я видела Мельницу. Я слышала песнь пыли.

Я не сломалась. Я не исчезла. Я здесь. Я стою перед тобой. И я говорю тебе: если ты убьёшь этих пленных — ты убьёшь не их. Ты убьёшь возможность понять врага. А без понимания — нет победы. Есть только смерть.

Гарм замер. Его единственный глаз сузился, пальцы сжали костяную пясть так, что позвонки заскрежетали, издав тот самый сухой, тоскливый звук, от которого у Эйнара заныли зубы.

— Ты смеешь учить меня, женщина? — прошипел он. — Ты, чужая, которая пришла с запада, которая не знает наших законов, которая не чтит наших традиций? Ты смеешь говорить мне, что делать с моими пленниками, на моей земле, в моём лагере?

— Смею, — ответила Ирис, не отводя взгляда. — Потому что если я не скажу — никто не скажет. Потому что если я промолчу — ты убьёшь их. А если ты убьёшь их — ты потеряешь шанс узнать, кто послал их. Зачем. Почему. И когда они придут снова.

— Я знаю, кто послал их, — сказал Гарм. — Наблюдатель. Тот, кто сидит в центре Мельницы. Тот, кто перемалывает память в пыль. Тот, кто послал Стражей, чтобы забрать пустого. Я знаю это. Мне не нужны пленные, чтобы это знать.

— А ты знаешь, как их остановить? — спросила Ирис. — Ты знаешь, где у них слабые места? Ты знаешь, почему их копья несут Распад, а их доспехи — нет? Ты знаешь, можно ли использовать их оружие против них же? Ты знаешь, можно ли пройти туда, куда они пришли, и не рассыпаться в прах?

Гарм молчал. Его единственный глаз смотрел на Ирис, и в этом взгляде, в этом светлом, почти бесцветном взгляде, было что-то, от чего Эйнару стало холодно. Не гнев. Не ярость. Понимание. Она была права. Он знал, что она права. И это бесило его больше, чем любой спор.

Воины за его спиной зашевелились. Кто-то опустил копьё. Кто-то убрал нож в ножны. Кто-то покачал головой и отошёл в сторону. Они не понимали её слов, но они чувствовали её правоту. И это было страшнее любого оружия.

Часть третья: Глаза Пустоты

VIII

Эйнар шагнул вперёд, встал между Гармом и Ирис. Его лицо было спокойным — не бесстрастным, а спокойным. Как у человека, который уже всё решил и не собирается отступить. Его рука лежала на рукояти ножа — обсидианового, чёрного, почти не блестящего, — но он не вытащил его. Не угрожал. Просто стоял.

— Она права, — сказал он, и голос его был низким, надтреснутым, но твёрдым. — Пленные нужны. Не для мести — для знания. Мы не знаем врага. Мы знаем только, что он силён. Что он быстр. Что он несёт Распад. Но мы не знаем, почему его доспех трескается от удара в сустав. Почему его копьё несёт смерть, а его тело — нет. Почему он пришёл сейчас, а не раньше. Почему он отступил, когда мы убили троих. Стражи — не воины. Они — инструменты. Как я. Как Ирис. Как ты. Мы должны понять, как они работают, чтобы сломать их.

Он говорил медленно, чётко, как человек, который взвешивает каждое слово. Его голос не дрожал. Его руки не дрожали. Только дар внутри пульсировал — ровно, спокойно, в такт его сердцу.

Гарм повернулся к нему. Его единственный глаз смотрел прямо в душу, в самую глубину, где даже дар не мог найти отражения.

— Ты защищаешь её, пустой? — спросил он. — Ты, который видел Мельницу, который говорил с Наблюдателем, который знает, что такое пустота? Ты защищаешь ту, кто лечит врагов? Ту, кто предаёт нас?

— Я защищаю не её, — ответил Эйнар. — Я защищаю будущее. Наше будущее. Твоих воинов, твоих детей, твоих старейшин. Если мы убьём этих пленных — мы ничего не узнаем. А если мы не узнаем — мы проиграем следующую битву. И следующую. И следующую. Пока от лагеря не останется только пыль. Пыль, которая поёт. Пыль, которую ты боишься. Пыль, которую ты ненавидишь.

Гарм замер. Его единственный глаз расширился, зрачок сузился до точки. Он смотрел на Эйнара, и в этом взгляде — в этом светлом, почти бесцветном взгляде — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не гнев, не ярость, не страх. Признание. Гарм признавал в нём равного. Не чужака, не пророка, не пустого — равного.

— Ты изменился, — сказал Гарм. — Твои глаза стали глубже за эту ночь. В них появилось то, чего не было раньше. Власть. Ты говоришь, и я слушаю. Я не хочу слушать, но я слушаю. Это страшно.

Он помолчал, провёл костяной пястью по лицу — позвонки скрежетнули, оставляя на коже красные полосы.

— Хьялмар сказал мне, что ты разговаривал со Стражами, — продолжал Гарм. — Ночью. Когда все спали. Ты пришёл к ним, сел рядом, говорил. Они ответили. Они не отвечают никому. Даже моим старейшинам. Даже Сайге. А тебе ответили. Почему?

— Потому что я — пустой, — ответил Эйнар. — Они узнали во мне то, что ищут. Ключ. Того, кто может открыть Дверь. Того, кто может войти в Мельницу и не рассыпаться.

— И что они сказали тебе? — спросил Гарм, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на любопытство.

— Что они уже мертвы, — ответил Эйнар. — Что их тела превратились в пыль. Их души — в песок. Их имена забыты. Что они — инструменты. Как я. Как Ирис. Как ты. Только у меня есть выбор. А у них — нет.

Гарм молчал. Долго. Так долго, что Эйнар начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Пленные останутся в живых. Но они будут в цепях. В костяных цепях, которые не разбить даже их копьями. Они будут голодать. Они будут жаждать.

Они будут молить о смерти. И если они умрут — я прикажу выбросить их тела за частокол, чтобы пыль забрала их. Не будет им ни могилы, ни памяти, ни имени.

— Согласен, — сказал Эйнар.

— И ещё, — сказал Гарм, поворачиваясь к Ирис. — Ты будешь лечить их только после того, как вылечишь всех моих воинов. Только после того, как напоишь водой всех моих детей. Только после того, как накормишь всех моих старейшин. Если кто-то из моих людей умрёт, потому что ты тратила время на врага — я лично перережу тебе горло. Медленно. С наслаждением. Ты поняла, женщина?

— Поняла, — ответила Ирис, не отводя взгляда.

Гарм развернулся и вышел из лазарета, волоча костяную пясть, оставляя на земле глубокие, чёрные царапины. Волкодавы — за ним. Воины — за ними. Через минуту они исчезли в темноте, между костями, между черепами, между пустотой.

Эйнар и Ирис остались одни.

IX

Ирис опустила на колени рядом со Стражем, и её руки — тонкие, бледные, с обломанными ногтями — начали ощупывать его доспех в поисках щели, где броня была тоньше всего, где можно было добраться до тела — или до того, что его заменяло. Страж не двигался. Его гладкая, бледная маска без глаз смотрела в потолок, и в этом взгляде, в этом отсутствии взгляда, было что-то, от чего Эйнару захотелось отвести глаза.

Эйнар сел на корточки рядом, смотрел, как она работает. Её пальцы скользили по чёрному, маслянистому обсидиану, и там, где они касались, обсидиан начинал светиться — слабым, голубоватым светом, похожим на свет тех искр, которые мелькали в тумане, в осколках первозеркала, в глубине чёрной воды. Свет пульсировал в такт её дыханию, в такт её сердцу, в такт песне пыли, которая всё ещё звучала где-то на границе слышимости, тихая, далёкая, но живая.

— Ты не должен был этого делать, — сказала она, не оборачиваясь. — Защищать меня перед Гармом. Рисковать своей жизнью. Рисковать нашим шансом дойти до Стены.

Её голос был тихим, почти шёпотом, но в тишине лазарета он прозвучал отчётливо, как удар колокола.

— Должен, — ответил он, садясь на шкуру рядом. — Ты — моя тень. Пока ты рядом — я есть. Пока ты жива — я не исчез. Если ты умрёшь — я рассыплюсь в прах. Не сразу — медленно. Как рассыпаются кости под тяжестью времени. Но я рассыплюсь. Потому что некому будет помнить моё лицо. Не для кого будет говорить. Не зачем будет идти.

Она не ответила. Только кивнула — коротко, резко, как отдают честь, — и продолжила ощупывать доспех Стража. Её пальцы двигались медленно, осторожно, как у человека, который боится разбудить спящего зверя.

— Они живые, — сказала она. — Не такие, как мы, но живые. Их доспехи — это не броня. Это их кожа. Их тело. Их память. Если я смогу понять, как она устроена — я смогу понять, как её ломать. Или как её использовать.

— Использовать? — переспросил Эйнар.

— Да, — ответила она. — Их копыта несут Распад. Их доспехи — нет. Если мы сможем отделить копыё от доспеха — мы сможем использовать Распад как оружие. Против Стражей. Против Наблюдателя. Против самой Мельницы.

Она замолчала. Эйнар сидел, глядя на неё, и думал о том, что эта девушка — хрупкая, бледная, с больной ногой и тёмными кругами под глазами — была сильнее любого воина в этом лагере. Потому что она не боялась. Потому что она видела то, чего не видели другие. Потому что она знала, что знания — это оружие, а смерть — это не конец, а переход.

Х

Страж зашевелился. Его маска — гладкая, бледная, без черт — повернулась к Ирис, и из глубины, из пустоты, из ожидания, раздался голос. Низкий, скрипучий, как старая, проржавевшая петля, но в этом голосе слышалось что-то, чего Эйнар не ожидал. Не угроза — усталость.

— Ты не похожа на других, — сказал Страж. — Ты — не пустая. Ты слышишь. Ты чувствуешь. Ты знаешь, что такое боль. Почему ты помогаешь нам?

— Потому что я — целительница, — ответила Ирис, не отрывая рук от его доспеха. — Потому что я не могу смотреть, как кто-то умирает, даже если этот кто-то — враг. Потому что если я пройду мимо — я перестану быть собой.

— Ты слабая, — сказал Страж. — Слабость убьёт тебя. Как убила нас.

— Может быть, — ответила Ирис. — Но я умру не от слабости. Я умру от того, что сделала выбор. А вы? Вы сделали выбор? Или вам не дали?

Страж молчал. Долго. Так долго, что Эйнар начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять.

— Нам не дали, — сказал он наконец. — Нас сделали. Мы не рождались — нас создавали. В чёрных зеркальных залах, под Мельницей, из пыли и памяти. Нам не дали имён. Не дали лиц. Не дали выбора. Мы — инструменты. Как ты сказала.

— Тогда, может быть, вы заслуживаете не смерти, а свободы, — сказала Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не жалость, не сострадание, а что-то другое, похожее на надежду. — Или хотя бы права выбрать, как умереть.

Страж не ответил. Только его маска — гладкая, бледная, без черт — слегка повернулась к Эйнару, и в этом повороте, в этом отсутствии лица, было что-то, от чего Эйнару стало холодно. Не угроза — узнавание. Страж узнал в нём то, что искал. Ключ. Того, кто может открыть Дверь.

— Ты — Ключник, — сказал Страж. — Ты можешь войти в Мельницу и не рассыпаться. Ты можешь остановить её. Или запустить навсегда. Наблюдатель ждёт тебя. Он ждал долго. Очень долго. Думал, уже не дожётся. Но ты пришёл. Теперь он знает, что ты здесь. И он пошлёт новых Стражей. Сильнее. Быстрее. Беспощаднее. Они не отступят. Они не уйдут. Они заберут тебя. Или умрут.

— А вы? — спросил Эйнар. — Вы умрёте?

— Мы уже мертвы, — ответил Страж, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на смирение. — Наши тела превратились в пыль. Наши души — в песок. Наши имена забыты. Мы — инструменты. Как ты. Как твоя женщина. Как Гарм. Только у тебя есть выбор. А у нас — нет.

Страж замолчал. Эйнар сидел, глядя на него, и чувствовал, как дар внутри пульсирует — ровно, спокойно, в такт его сердцу. Не видение — понимание. Он понимал, что этот Страж не враг. Он был таким же, как он — жертвой. Жертвой дара, которого не просил. Жертвой судьбы, которую не выбирал. Жертвой пустоты, которая смотрела на него из каждого отражения, из каждой тени, из каждой капли воды.

Часть четвёртая: Разговор у костра

XI

К вечеру лагерь пришёл в себя.

Костры снова зажглись, мясо зашипело на вертелах, воины заговорили — тихо, осторожно, как после похорон, когда каждое слово может разбередить свежую рану, но молчать уже невозможно. Но в их голосах, в их взглядах, в их жестах было что-то новое. Не уважение — принятие. Они перестали смотреть на Эйнара как на чужого. Как на врага. Как на пустое место. Теперь они смотрели на него как на одного из них. Не Дитя Бурь — но того, кто выдержал то, что выдерживают не все. Того, кто не сломался. Того, кто не убежал.

Гарм сидел у своего костра — не в тронном черепае, а на открытом месте, между двумя огромными рёбрами, которые сходились вверху, образуя естественную арку. Рядом с ним, положив голову на лапы, лежали волкодавы. Их жёлтые глаза смотрели на огонь, и в их глубине, в этой желтизне, отражалось пламя — красное, живое, тёплое.

Эйнар и Ирис сидели у другого костра, в стороне от основного лагеря, между двумя невысокими черепами, которые когда-то были зверями, а теперь стали просто камнями — серыми, гладкими, безликими. Пламя трещало, искрилось, пахло дымом и смолой, и этот запах напоминал Эйнару о лесе, о хижине, о жизни, которая была до.

— Ты думаешь, Гарм простит тебя? — спросил Эйнар, глядя на огонь.

— Не простит, — ответила Ирис, отрезая кусок вяленого мяса ножом. — Но он не убьёт. Пока я нужна. Пока я лечу его воинов. Пока я знаю то, чего не знают его старейшины. Я — инструмент. А инструменты не убивают, пока они острые.

Она говорила спокойно, ровно, как будто не замечала, что её руки дрожат. Как будто не замечала, что на её губах запеклась кровь — не чужая, своя. Она прикусила губу, когда Гарм кричал на неё. Не от страха — от гнева. Она не показывала этого Гарму. Но сейчас, в темноте, у костра, её лицо стало усталым, почти беззащитным.

— Ты говоришь как Агата, — сказал он. — Твой учитель. Та, кто назвала тебя инструментом.

— Агата была права, — ответила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не горечь, не сожаление, а что-то другое, похожее на принятие. — Я — инструмент. Но инструмент, который сам выбирает, для чего его использовать. Я лечу не потому, что приказали. Я лечу, потому что не могу иначе. Потому что если я пройду мимо раненого — он умрёт. А если он умрёт — его тень исчезнет. А если тень исчезнет — его память станет пылью. А пыль... пыль поёт. И я не хочу, чтобы она пела.

Она замолчала, глядя на огонь. Эйнар смотрел на неё и думал о том, что она, наверное, никогда не отдыхала. Даже сейчас, когда лагерь затих, а раненые уснули, она сидела, сжимая в руке нож, и смотрела на пламя, как будто ждала, что оно даст ей ответы. Или силы. Или хотя бы покой.

ХП

К костру подошёл мальчик с угольными глазами. Он был без посоха, без ножа, без тени — нет, тень у него была, длинная, чёрная, правильная, но она казалась тоньше, чем обычно, как будто мальчик стал меньше за эту ночь. Старше. Усталее.

— Гарм прислал меня, — сказал он, не здороваясь. — Он сказал передать: «Завтра на рассвете вы уходите. К Стене. К Буре. К Двери. Не возвращайтесь. Или возвращайтесь, но уже не людьми».

— Скажи ему, что мы поняли, — ответил Эйнар.

Мальчик не ушёл. Стоял, смотрел на огонь, и его угольные глаза отражали пламя — красное, живое, тёплое.

— Я хотел поблагодарить вас, — сказал он. — Не за бой — за пленных. Мой отец умер вчера. Его убил Страж. Я хотел отомстить. Я хотел убить их всех. Но Ирис сказала, что пленные нужны. Что если мы убьём их — мы ничего не узнаем. Я не понял. Но я поверил. Потому что она лечила моего отца, когда он был жив. Она не смогла спасти его — рана была слишком глубокой. Но она сидела с ним до конца. Держала за руку. Шептала слова. Он умер не один. Спасибо.

Он развернулся и ушёл, не дожидаясь ответа. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на землю, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

— Ты спасла его отца? — спросил он Ирис.

— Нет, — ответила она. — Я не смогла спасти. Я только дала ему время. Время, чтобы попрощаться с сыном. Время, чтобы сказать то, что он не успел сказать. Время, чтобы не умереть с мыслью, что ничего не успел.

Она помолчала, потом добавила тише:

— Иногда это всё, что мы можем. Не спасти — дать время. Не победить — выжить. Не найти ответ — задать вопрос.

ХШ

Когда стемнело, и костры стали гореть ярче, а тени — длиннее, Эйнар услышал шаги. Тяжёлые, уверенные, как у хозяина, который идёт проверить свои владения. Но это был не Гарм. Это был Хьялмар.

Он подошёл к их костру, остановился в трёх шагах, опираясь на свой боевой посох. Его лицо было бледным, измождённым, но в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было враждебности.

— Можно? — спросил он, кивая на свободное место у костра.

— Садись, — ответил Эйнар.

Хьялмар сел, положил посох на колени, протянул руки к огню. Его пальцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — дрожали. Не от холода — от напряжения, которое наконец отпускало, оставляя после себя пустоту и слабость.

— Я хотел поблагодарить тебя, — сказал он, не глядя на Эйнара. — Не за бой — за слова. Ты сказал Гарму то, что я должен был сказать. Но я не сказал. Потому что боюсь его. Потому что он — вождь. Потому что он может убить меня одним словом. А ты не боишься. Ты — пустой. Тебе нечего терять. Или есть, но ты не показываешь.

Он помолчал, провёл рукой по лицу, стирая пыль и пот.

— Я видел, как ты метал копье, — продолжал Хьялмар. — Дважды. Первое пробило основание ребра. Второе — добило. Ты не учился этому. Не в этом лагере. Не у моих воинов. Ты просто... сделал. Как будто знал, куда бросать. Как будто кто-то показал тебе.

— Дар показал, — ответил Эйнар. — Не видение — путь. Место, где кость тоньше всего. Где трещины глубже всего. Где смерть ближе всего.

— И ты не боялся, что рассыплешься? — спросил Хьялмар. — Копья Стражей несут Распад. Даже мои воины не рискуют прикасаться к ним дольше, чем нужно. А ты держал его. Метал. Попал. И остался жив.

— Я — пустой, — сказал Эйнар. — У меня нет отражения. Распад не может забрать то, чего нет.

Хьялмар кивнул — медленно, тяжело, как кивают, когда слышат правду, которую знали, но не хотели признавать.

— Ты прав, — сказал он. — Пленные нужны. Не для мести — для знания. Я не подумал об этом. Я думал только о крови. О своей ярости. О своих павших братьях. А ты подумал о будущем. Это делает тебя умнее меня. Или мудрее. Не знаю. Но это делает тебя достойным уважения.

Он поднялся, опираясь на посох, и посмотрел на Ирис.

— Твоя женщина смелая, — сказал он. — Слишком смелая. Она рисковала жизнью ради врагов. Я не понимаю этого. Но я уважаю это. Потому что смелость — это не умение убивать. Смелость — это умение делать то, что считаешь правильным, даже когда все против.

Он развернулся и ушёл, не дожидаясь ответа. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на землю, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

Часть пятая: Грань перед бурей

XIV

Поздно ночью, когда лагерь затих, а костры догорели, Эйнар пошёл проверить пленных. Ирис осталась у костра — она уснула, свернувшись калачиком, подложив под голову свой изодранный плащ, и её лицо во сне было спокойным, почти беззащитным — без той жёсткой, колючей маски, которую она носила наяву.

Он шёл между костями, между черепами, между спящими телами, и его шаги были тихими, почти бесшумными — привычка, выработанная годами одиночества, когда любое движение в темноте могло стать последним, если рядом затаился хищник. Но здесь не было хищников. Здесь были только люди, которые боялись, надеялись, ждали.

Пленные Стражи лежали в дальней кости, прикованные цепями из позвонков к стене. Их доспехи уже не блестели — они были матовыми, серыми, покрытыми пылью. Из трещин всё ещё сочилась пыль — серая, маслянистая, поющая, но тише, чем утром. Они не спали — их гладкие, бледные маски без глаз были повернуты к входу, и Эйнар чувствовал их взгляд — тот самый, пустой, бесконечный, всевидящий, который смотрел на него оттуда, из Мельницы, из лица без лица, из ожидания.

Он сел на корточки перед тем, который лежал ближе всех — тем, кто кланялся ему сегодня утром. Его левая нога была раздроблена, но рана уже не кровоточила — только сочилась пылью. Эйнар смотрел на него, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Странное, тяжёлое, липкое, как смола.

— Ты можешь говорить? — спросил он. — Или вы только служите и убиваете?

Тишина. Только пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно.

Потом Страж зашевелился. Его маска — гладкая, бледная, без черт — повернулась к Эйнару, и из глубины, из пустоты, из ожидания, раздался голос. Низкий, скрипучий, как старая, проржавевшая петля, но в этом голосе слышалось что-то, чего Эйнар не ожидал. Не угроза — усталость.

— Мы говорим, — сказал Страж. — Редко. Только с теми, кто достоин. Ты — пустой. Ты видел Мельницу. Ты говорил с Наблюдателем. Ты не исчез. Ты достоин.

— Зачем вы пришли? — спросил Эйнар. — Зачем напали на лагерь? Зачем убили людей, которые не хотели вам зла?

— Мы служим, — ответил Страж. — Мы не выбираем. Нам приказывают — мы исполняем. Наблюдатель сказал: «Приведите пустого». Мы пришли, чтобы привести тебя. Но ты не пошёл. Ты сопротивлялся. Ты убил троих из нас. Ты ранил ещё двоих. Ты сильнее, чем мы думали. Ты — не просто пустой. Ты — Ключник.

— Ключник? — переспросил Эйнар.

— Тот, кто может открыть Дверь, — ответил Страж. — Тот, кто может войти в Мельницу и не рассыпаться. Тот, кто может остановить её. Или запустить навсегда. Наблюдатель ждёт тебя. Он ждал долго. Очень долго. Думал, уже не дождётся. Но ты пришёл. Теперь он знает, что ты здесь. И он пошлёт новых Стражей. Сильнее. Быстрее. Беспощаднее. Они не отступят. Они не уйдут. Они заберут тебя. Или умрут.

— А вы? — спросил Эйнар. — Вы умрёте?

— Мы уже мертвы, — ответил Страж, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на смирение. — Наши тела превратились в пыль. Наши души — в песок. Наши имена забыты. Мы — инструменты. Как ты. Как твоя женщина. Как Гарм. Только у тебя есть выбор. А у нас — нет.

Страж замолчал. Эйнар сидел, глядя на него, и чувствовал, как дар внутри пульсирует — ровно, спокойно, в такт его сердцу. Не видение — понимание.

XV

Он вернулся к своему костру, когда небо на востоке начало светлеть — бледной, болезненной желтизной, которая не предвещала солнца, а обещала тяжёлый пасмурный день. Ирис спала, её лицо было спокойным, почти беззащитным, и на губах застыла тень улыбки — той, которая, может быть, когда-нибудь станет настоящей.

Эйнар сел рядом, положил лук на колени, и посмотрел на свои руки. Правую — здоровую, левую — перевязанную. Пальцы левой руки всё ещё болели, но уже не так сильно. Он пошевелил ими — отозвалось тупой, ноющей пульсацией, но пальцы гнулись. Хорошо. Значит, он сможет стрелять. Сможет идти. Сможет драться. Сможет дойти до конца.

Он думал о словах Стража: «Ты — Ключник. Наблюдатель ждёт тебя». Он думал о том, что этот путь — не случайность, не проклятие, не дар. Это судьба. Та самая, в которую он не

верил. Та самая, которую он отрицал. Та самая, которая вела его через прах и пустоту, через осколки и чёрную воду, через страх и смерть.

Он закрыл глаза и провалился в сон — глубокий, без видений, без отражений, без смерти. Только темнота, только покой, только надежда, что завтрашний день будет лучше, чем вчерашний.

А в лагере, у костров, воины говорили шёпотом. О пророке, который не боится Гарма. О целительнице, которая лечит врагов. О пустоте, которая стала надеждой.

И о том, что завтра они уходят. К Стене. К Буре. К Двери. К Мельнице, которая ждёт.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 33

ГЛАВА 34. ПЛЕННЫЕ

Часть первая: Клетка из кости

I

Эйнар проснулся от того, что тишина стала другой.

Не глубокой, не плотной, не давящей — пустой. Той самой пустотой, которая жила внутри него теперь, когда его отражение исчезло, когда тень стала короткой, как обрубок пальца, когда вода перестала его помнить. Он лежал на спине, глядя в костяной потолок своей временной кости, и слушал. Обычно по утрам лагерь Детей Бурь просыпался с криками воинов, ржанием коней (хотя лошади здесь не водились — или водились, но другие, чёрные, с жёлтыми глазами, похожие на волкодавов Гарма), треском позвонков в очагах и хрустом костяной крошки под ногами дозорных. Сегодня было тихо.

Слишком тихо.

Тишина не была пустой — она была наполненной. Наполненной ожиданием. Как перед грозой, когда воздух становится тяжёлым, как мокрая овчина, и даже ветер затихает, боясь нарушить хрупкое, первозданное спокойствие, которое может лопнуть в любой момент, и тогда мир содрогнётся от удара, который никто не сможет предсказать. Эйнар лежал, чувствуя эту тишину кожей, затылком, самой глубиной, где жил его дар. Дар молчал — не пульсировал, не требовал отражений, не показывал картинок. Он просто был. Как второе сердце, которое замерло в ожидании, не решаясь сделать следующий удар.

Эйнар сел, опираясь на здоровую руку. Левая рука, перевязанная свежей тряпицей, почти не болела. Только лёгкое, едва заметное напряжение в запястье напоминало о том, что ещё недавно здесь была открытая рана, гной, воспаление. Мазь Ирис сделала своё дело. Или его тело наконец вспомнило, как заживать по-человечески. Или пустота, которая жила внутри него, перестала требовать крови.

Он пошевелил пальцами — они гнулись легко, почти безболезненно. Хорошо.

Ирис не было рядом. Её шкура была пуста, плащ — изодранный, тёмно-синий с серебряной нитью — аккуратно сложен в углу. Фляга с водой и маленький мешочек с сушёными травами лежали рядом. Эйнар потрогал мешочек — внутри что-то шуршало, сухо, как старая, высушенная бумага. Полынь. Зверобой. Что-то ещё, южное, незнакомое, что не росло в этих местах. Трава, которую Агата дала Ирис перед тем, как отправить в Пустость. «Это поможет тебе не забыть, кто ты», — сказала тогда Агата. Ирис не забыла. Но иногда, особенно по ночам, когда она спала и её лицо становилось спокойным, почти беззащитным, Эйнару казалось, что она помнит слишком много. Слишком больно. Слишком тяжело.

Он не знал, куда она ушла. Но чувствовал — недалеко. Потому что если бы она ушла далеко, он бы исчез. Или не исчез, но стал бы другим. Более пустым. Более тихим. Более мёртвым.

Он поднялся, натянул сапоги — отцовы, старые, потрескавшиеся, но ещё державшие тепло. Поправил колчан, сбившийся набок. Стрелы тихо звякнули друг о друга — сухой, металлический звук, который показался ему неестественно громким в этой тишине. Лук был на плече. Нож — на поясе, в ножнах из берёсты. Всё было на месте.

Он проверил тетиву — тугая, без слабины. Провёл пальцем по лезвию ножа — острый, не затупился. Проверил стрелы — четырнадцать. Три кривые, но других нет. Привычка, выработанная годами одиночества, когда любое движение в темноте могло стать последним, если рядом затаился хищник. Но сегодня хищников не было. Была только тишина. И ожидание.

Он вышел из кости и остановился.

Лагерь был почти пуст.

II

Костры догорели — только редкие, тлеющие угли разбрасывали вокруг слабый, красноватый свет, который не разгонял тьму, а только подчёркивал её. Шкуры у входов в костяные норы были задёрнуты. Никто не сидел у костров, не чистил оружие, не ел, не пил, не разговаривал. Даже волкодавы исчезли — только редкие, чёрные тени мелькали вдали, между рёбер, между черепами, между пустотой. Тени двигались быстро, беспокойно, как звери, которые чуют запах крови, но не знают, откуда он идёт.

Ветер дул с востока — холодный, сухой, пустой. Он приносил запах металла и пустоты. Но не запах крови. Не запах дыма. Не запах смерти. Только пустоту. Эйнар вдохнул этот воздух, и в лёгких зашипало — не от холода, от того, что воздух был слишком чистым. Слишком прозрачным. Слишком мёртвым. Таким воздухом дышат в местах, где не осталось ничего живого. Ни людей, ни зверей, ни даже пыли, которая поёт. Только пустота. И ожидание.

Эйнар прошёл мимо лазарета — временной кости, которую Гарм выделил для раненых. Внутри было темно, тихо, но он услышал дыхание. Много дыханий — ровных, глубоких, спокойных. Раненые спали. Или уже не спали, а лежали с открытыми глазами, глядя в потолок, и ждали. Чего? Смерти? Исцеления? Чуда? Эйнар задержался у входа, прислушался. Дыхание было ровным, но неглубоким — как у зверей, которые затаились в норе и ждут, когда опасность минует. Он узнал некоторые голоса — Хьялмара, который стонал во сне, мальчика с угольными глазами, который бормотал что-то на незнакомом языке, старейшины, который кашлял

глухо, надрывно, как кашляют перед смертью. Он хотел войти, проверить, всё ли в порядке, но не вошёл. Не имел права. Он был не целителем. Он был пророком. А пророк не лечит раны — он видит смерть.

Он прошёл мимо.

III

Он направился к южному частоколу — туда, где вчера рухнуло ребро, где пыль пела громче всего, где он метал копьё в основание кости, где дар показывал ему путь. Там, за частоколом, лежали трупы Стражей — трое под обрушенным ребром, двое на подступах, один у северной стены, куда его загнали воины Гарма и забили насмерть копьями, целясь в суставы. Тела должны были быть там. Их доспехи — чёрные, маслянистые, блестящие — должны были ещё светиться тем слабым, голубоватым светом, который исходил из трещин, из ран, из пустоты. Но сегодня их не было.

И воинов не было.

Эйнар остановился, прислушался. Тишина стала ещё плотнее, ещё тяжелее. Он закрыл глаза, пытаясь почувствовать даром, что случилось. Дар молчал. Только пустота. Только тьма. Только ожидание.

— Они ушли, — сказал чей-то голос сзади. Тихий, детский, но не по-детски спокойный.

Эйнар обернулся. Мальчик с угольными глазами стоял в трёх шагах, опираясь на посох — тот самый, чёрный, с набалдашником из позвонка. Его лицо было бледным, почти прозрачным, под глазами залегли глубокие тени — он не спал всю ночь. Или спал, но сны не давали ему покоя. Его тень — длинная, чёрная, правильная — лежала на земле, пересекаясь с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой. Сегодня тень мальчика казалась тоньше, чем обычно, как будто он стал меньше за эту ночь. Старше. Усталее.

— Кто? — спросил Эйнар. — Гарм? Воины?

— Все, — ответил мальчик. — Гарм повёл их на охоту. На юг. По следам Стражей. Он сказал, что они не вернуться, пока не убьют последнего из тех, кто напал на лагерь. Он сказал, что это — месть. Что кровь требует крови. Что если они не убьют врагов сейчас — враги вернуться и убьют их завтра. Он говорил это стоя на черепе, подняв костяную пясть над головой, и его единственный глаз горел так, что я испугался. Я никогда не видел его таким. Даже когда волкодавы рвали пленных. Даже когда он казнил предателей. Он был... другим. Как будто пустота заглянула в него, и он заглянул в пустоту. И они договорились.

Он помолчал, потом добавил тише, почти шёпотом:

— Он сказал, что ты — пророк. Что ты должен остаться. Потому что если он умрёт — ты должен будешь сказать его воинам, кто следующий вождь. Или что следующего вождя не будет. Или что будет, но не сейчас. Я не понял. Я только запомнил. И передаю тебе.

Мальчик говорил, и его голос дрожал — не от страха, от холода. Или от того, что он слишком долго молчал и теперь не мог остановиться. Слова вырывались из него, как вода

из прорванной плотины, — быстро, беспорядочно, почти бессмысленно. Эйнар слушал, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Странное, тяжёлое, липкое, как смола. Гарм ушёл. Увёл почти всех воинов. В лагере остались только раненые, дети, старейшины, Ирис и он. И пленные. Если Стражей, которые напали вчера, было семеро, а убили троих, и двое отступили, значит, осталось двое. Гарм и его воины пошли убивать их. Или быть убитыми. Эйнар не знал. Дар молчал.

— Где пленные? — спросил он. — Те двое, которых мы захватили? Кого лечила Ирис?

Мальчик посмотрел на него. В его угольных глазах — глубоких, чёрных, без единого светлого пятна — мелькнуло что-то, похожее на удивление. Или на страх. Или на то и другое вместе.

— Их бросили в яму, — ответил он. — Ту, что у северной стены. Ту, где раньше держали псов перед боем. Гарм сказал, что они будут ждать его возвращения. А если он не вернётся — они будут ждать вечно. Или умрут от голода. Или рассыплются в прах. Какая разница?

Он развернулся и пошёл прочь, не прощаясь. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на землю, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало холодно. Он смотрел вслед мальчику, и внутри, под рёбрами, пульсировало что-то — не дар, не страх, а что-то другое, похожее на тоску. Тоску по дому, которого не было. По лесу, который он покинул. По матери, которая плакала, но не защитила. По отцу, который молчал, но любил.

Он вспомнил, как отец учил его ходить по лесу бесшумно. «Лес слышит всё, — говорил отец. — Каждый твой шаг, каждый вздох, каждый скрип кожи на сапогах. Лес не прощает глупцов. Лес кормит только тех, кто становится его частью». Эйнар стал частью леса много лет назад. Он двигался между деревьями так же бесшумно, как ветер, и так же незаметно, как тень. Он знал каждую тропу, каждую ложбину, каждое место, где можно спрятаться или устроить засаду. Но здесь, в Пустоте, лес кончился. Остались только кости, черепа, пыль. И он не был частью этого места. Он был чужим. Пустым. Тем, у кого нет отражения.

IV

Эйнар пошёл к северной стене.

Лагерь был пуст, но не мёртв. Он дышал — неглубоко, осторожно, как раненый зверь, который затаился в норе и ждёт, когда охотник уйдёт. Из костяных нор доносились приглушённые звуки — шёпот, всхлипы, редкие, отрывистые стоны. Люди боялись выходить. Они не знали, вернутся ли воины. Не знали, придут ли новые Стражи. Не знали, увидят ли завтрашний рассвет.

Эйнар шёл между рёбер, между черепов, между шкур, и его шаги — тихие, почти бесшумные — отдавались эхом от костяных стен. Он не знал, куда идёт — тело вело его, ноги несли сами, дар подсказывал направление. Не видение — чувство. Тяжёлое, липкое, как смола. Что-то ждало его у северной стены. Что-то, что должно было случиться. Что-то, что изменит всё.

Он вспомнил, как в детстве его водили на смотрины. Невест. Девушек из соседних деревень, которых привозили к воротам Терновой Гривы, чтобы молодые парни выбрали себе жен. Эйнар не хотел выбирать. Он знал, что его дар — проклятие. Что ни одна девушка не согласится быть женой Морока. Что он умрёт один. Или исчезнет. Или станет пылью. Он стоял у ворот, смотрел на девушек, и в их глазах — светлых, испуганных, любопытных — он видел страх. Они боялись его. Или боялись за него. Или боялись того, что он мог увидеть в их отражениях.

Он не выбрал никого. Ушёл в лес, в хижину, в одиночество. И думал, что так будет всегда. Что он умрёт один. Что его имя забудут. Что его тень исчезнет.

Но теперь рядом была Ирис. И она не боялась.

V

Яма оказалась не там, где он ожидал.

Она была вырыта не в земле — в кости. Огромный, чёрный позвонок, из которого вынули сердцевину, оставив только внешнюю, твёрдую оболочку. Позвонок был размером с дом — не с хижину, с дом. С теми домами, которые строили купцы в Терновой Гриве, — двухэтажные, с каменными фундаментами и железными ставнями, которые закрывали на ночь, чтобы никто не забрался. Стены ямы были гладкими, чёрными, маслянистыми, и на них не было ни одного отражения — только пустота. Глубина — в три человеческих роста, не меньше. На дне — серая, маслянистая пыль, которая всё ещё пела, но тихо, далёко, почти не слышно.

Эйнар подошёл к краю, опустился на колени, провёл рукой по гладкой, чёрной поверхности. Кость была холодной — не просто холодной, а абсолютно холодной, как будто никогда не касалась солнца, никогда не знала тепла живого тела. Она пульсировала — слабо, едва заметно, как пульсирует дар под рёбрами, как пульсирует сердце в груди, как пульсирует время в Пустоте. Эйнар убрал руку. Пальцы онемели — не от холода, от того, что кость не хотела его помнить. Или не могла. Или не хотела.

Яма была накрыта решёткой — из рёбер. Тонких, гибких, скреплённых той же чёрной, маслянистой смолой, что держала кости лагеря. Решётка лежала на краях позвонка, и между прутьями можно было просунуть руку — но не пролезть самому. Эйнар посмотрел вниз, сквозь щели, и увидел их.

Внизу, на дне ямы, в пыли, сидели двое.

Стражи. Те самые, которых лечила Ирис. Тот, с раздробленной левой ногой — его доспех был покрыт трещинами, из которых всё ещё сочилась пыль, серая, маслянистая, поющая. Он сидел, прижавшись к стене, и его маска — гладкая, бледная, без черт — была повернута вверх, к решётке, к Эйнару. Второй, которого Эйнар видел вчера, когда метал копьё, когда говорил с ним у костра после боя, — его доспех был целее, но на груди чернела глубокая вмятина — след от удара посохом Хьялмара. Он лежал на боку, поджав колени к груди, как спящий ребёнок, как раненый зверь, как тот, кто сдался и не хочет больше драться. Его маска была повернута в стену, и Эйнар не видел его глаз.

Но сегодня они были не одни.

Рядом с ними, прислонившись к стене, сидел третий.

VI

Эйнар не сразу понял, что видит.

Третий Страж был не похож на других. Он был выше. Тоньше. Его доспех — чёрный, маслянистый, блестящий — не был покрыт трещинами. Он был целым. Идеальным. Как будто только что вышел из чёрных зеркальных залов, из-под Мельницы, из рук тех, кто создавал Стражей. Но на его левом наплечнике, там, где пластины сходились в суставе, чернела глубокая, рваная вмятина — не от удара, от времени. От того, что доспех носился долго. Очень долго. Может быть, века.

Его шлем был треснут. Не от удара — от того, что под ним было лицо. Эйнар увидел его, когда третий Страж повернул голову — не к нему, к тем двоим, которые сидели рядом, и в повороте, в этом медленном, плавном движении, было что-то, от чего Эйнару захотелось отступить на шаг. Не угроза — человечность. Третий Страж был человеком. Или был им когда-то. Или помнил, что был.

Его лицо было бледным, почти белым, с глубокими морщинами вокруг глаз, с тонкими, бескровными губами, с глазами, которые смотрели на мир из-под треснутого обсидиана. Это было лицо женщины. Не молодой — старой. Очень старой. Намного старше, чем казалось сначала. Её глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели на своих спутников, и в этом взгляде, в этой светлой, почти бесцветной глубине, было что-то, от чего Эйнару стало холодно. Не угроза — усталость. Та самая, глухая, беспросветная усталость человека, который слишком долго живёт и не знает, когда это кончится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.